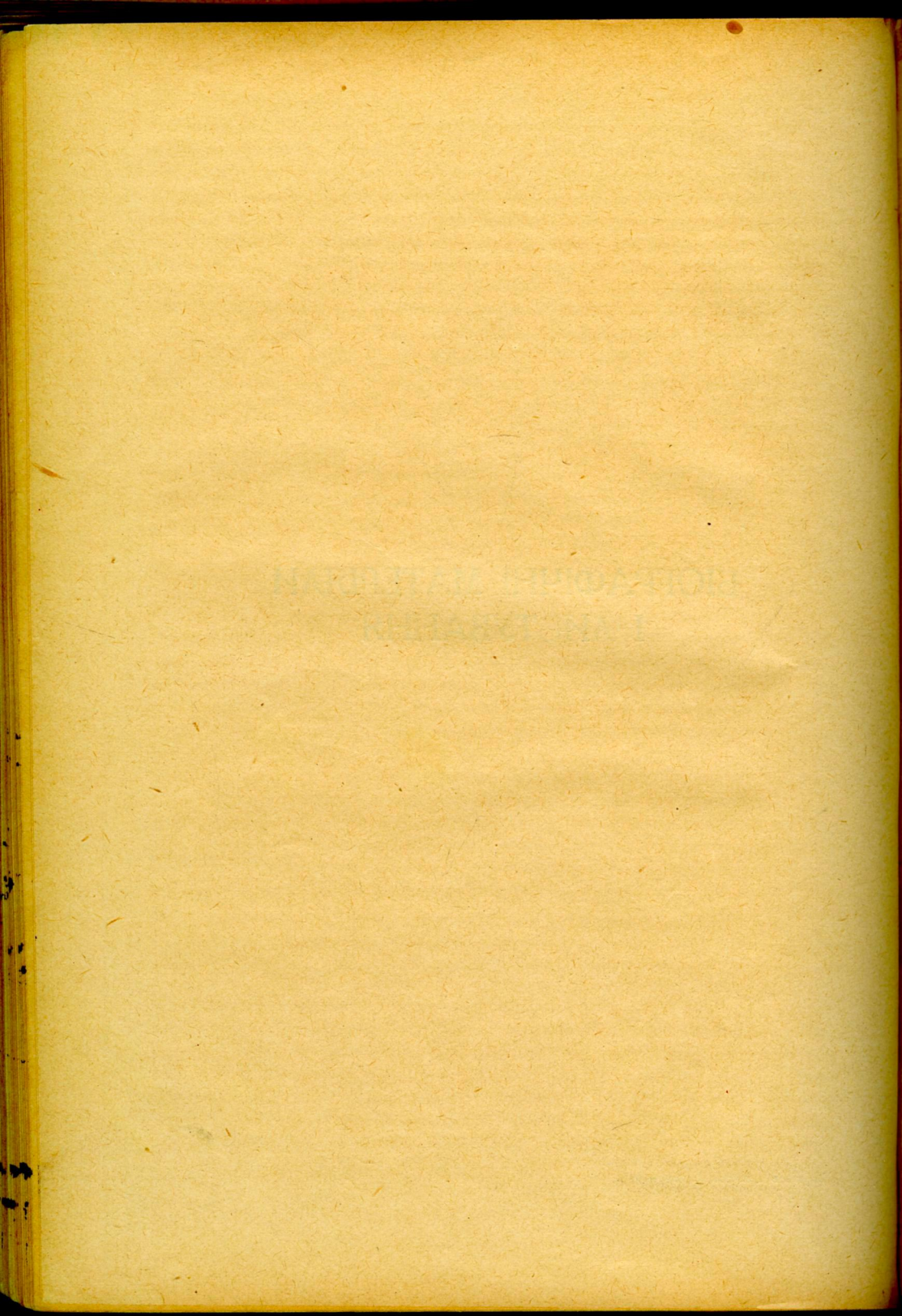






БІОГРАФІЧНІ МАТЕРІЯЛИ  
І ЛИСТУВАННЯ







## ЛИСТИ ИЗМ. СРЕЗНЕВСЬКОГО ДО МАТЕРИ О. І. СРЕЗНЕВСЬКОЇ

1

*1829, июля 7. Курске*

Дражайшая маменька! И так пролетел третий день, как я не вижу вас более; третий день уже тому, как нашею должностію сделалась беспрестанная кибиточная тряска. — Уже пространство 250 верст разлучает нас. — Добрая маменька, вы поверите тому, что, несмотря на все удовольствия путешествія, воспоминание о спокойной жизни харьковской, об удовольствиях домашних, о тех заботах, кои вы на нас обращали и кои теперь я живо могу представить, наводят на меня уныние; оно конечно улетает, но не совсем: оно останется во мне до тех пор, пока снова верхи зданій харьковских не представятся моим взорам. Великую благодарность я должен иметь к Ивану Николаевичу<sup>1)</sup> за то, что он мне доставил удовольствие увидеть большое количество родных мне по сердцу, по духу, по желаніям. Вы знаете, маменька, как я любил слушать рассказы ваши и Ивана Николаевича о милой моей родине и о русских; я желал, подобно птичке полуденной, вскормленной на чуждой стороне, полететь на свою невиданную родину; и полетел, и чем далее еду, тем более знакомлюсь с нею. — Представьте, маменька, как должно биться мое ретивое. Мы уже в Курске. Вокруг меня все русское, все меня занимает; при том теперь воскресенье; все так разнаряжено; богатые кокошники и другие головные уборы, белые тонкие рубахи и разноцветные понявы, юпки и сарафаны беспрестанно попадаются на глаза. Я не в силах выразить вам на словах всех чувств моих. Позвольте мне это оставить до следующих писем и до приезда...

2

*Тула. Воскресенье 14 июля*

„Не угодно ли купить каких-нибудь стальных вещей? Есть прекрасные ножи перочинные, игольники, перстни, печатки, подушечки дамские, цепочки и много-много других прекрасных



штучек; не угодно ли: и мило, и дешево; право слово — останетесь довольны“. Вот первые слова, которыми мы были засыпаны со всех сторон, едва только успели разделаться с хозяйкой о цене комнаты. *После, после* — был наш общий ответ: ибо мы спешили тогда в церковь к обедне; и так мы от них отвязались, хотя не надолго. Мне очень хотелось видеть служение архиерейское в Туле но, к несчастью моему, архиерей сегодня не служит. О соборных певчих скажу, что они далеко отстали от наших харьковских не только архиерейских, но и простых соборных.

Сегодня я проводил Ивана Николаевича до самой заставы и, простившись, хотя не надолго, с ним, возвратился в уединенную свою комнату. Давно не видался, скука явилась передо мною и надоедала мне до тех пор, пока я не принялся за диссертацию. Таким образом провел я часа два. Пришедший ко мне хозяин прервал мои занятия — „Эх, барин, барин, приехал в Тулу, а и поглядеть на нее не хотите. Она очень даже красива, а ее проезжие называют меньшею сестрою Москвы: ну вот, напр., подите в Английский сад, там на полугоре по киевской дороге справа. Это чудо диковинное, а не сад,—то-то налюбуетесь“. И так я, как бы принужденный, надел мундир и пошел. В самом деле, я нашел садик их, лучше сказать, бульвар — очень милый, хотя маленький.— Кого же (спросите вы, может быть) встретил ты там? — Несколько куч разбеленных купчих в старокроенных сапогах и в новомодных мантиях, распомаженных купчиков и сидельцев, десятка два долговязых здешних философов, столько же коротеньких и толстеньких гарнизонных офицеров и две или три дамы. Я скоро вышел из сада, почитая лучшим побродить по городу и позевать на прекрасные дома, нежели на несносные лица. Иван Николаевич говорит, что Тула есть уголок Москвы; а я, не видав Москвы, скажу, что Харьков есть только уголок Тулы. Улицы почти совершенно каменные, редко встречаются на иных дома деревянные, а если и есть, то по большей части двухэтажные. Вот кажется все, что могу я написать Вам, милая маменька, теперь из Тулы.

3

Москва, 1829, июля 27

Дражайшая маменька! Итак после долгого странствования мы прибыли в субботу, в праздник св. Ильи, в огромную древнюю столицу нашу. Вы можете, милая маменька, представить мое восхищение, когда в первый раз я увидел вдали золотые главы бесчисленных церквей московских. Тридцать верст, еще оставшиеся до нее, показали мне трехстами. Три раза манила сия величественная башня нас к себе — и три раза опять скрывалась или за рощами и садами, или за подмосковными дачами; наконец



показалась опять и до сих пор еще не скрылась от взоров моих. Третьяго дни мы были на Иване Великом. Оттуда я видел Москву во всем ее величии. Не берусь ее вам описывать: это превосходит мои силы.

Утром в воскресенье я поехал к почтеннейшему Льву Алексеевичу<sup>2)</sup>. Он меня принял очень ласково, расспрашивал о вас, о мне, о сестре и брате, удивился тому, что я так скоро получил степень кандидата, между тем как сыновья его не кончили еще курса; наконец, приказал переходить жить к себе. Так я провел с ним и его сыновьями несколько часов. Скоро после того мы поехали с ним и сыновьями обедать к профессору, г-ну Ивашковскому<sup>3)</sup>, который знал очень коротко моего папеньку. В пять часов того же дня я уже совершенно перешел жить к милым товарищам моим и до сих пор провожу время очень весело. Каждый день хожу к Ивану Николаевичу и почтеннейшей тетешке его, а вечером возвращаюсь в милый круг семейства Льва Алексеевича, где я принят совершенно как родной...

Р. S. Сегодня утром иду рассматривать кабинеты. После обеда поеду в земледельческий хутор к профессору Павлову<sup>4)</sup> который звал меня к себе в гости.

#### 4

*Старые Водолаи, 45 верст от Харькова*

Здравствуйте, маменька, здравствуй, брат! Не знаю, что будет далее, а до сих пор и скучно и грустно, — больно грустно. Так и полетел бы назад в мой родимый Харьков. Жестокость уединения — вы знаете, что я никогда еще не испытывал оной, живучи около вас, в кругу добрых приятелей — и вдруг тяжкая разлука, тяжелое одиночество! Тепер нет уже у меня ни маменьки ни брата, ни Иосифа Афанасьевича. Я один, как былина в поле некому сказать доброго слова, некому излить своих чувств, а их у меня, бесчувственного, набралось тепер много, и все такие ядовитые.

У моего теперешнего хозяина — сын маленький, восьмилетнее дитя. Я рад встрече с этим ангелом: он утешает меня не пошлыми фразами: „чего грустить! перестань“. Нет, его утешение совсем другого рода: дедовская бандура в его руках, беглые пальчики его быстро перебирают струны, а он сам с невинною улыбкою поет мне:

„Веют ветры, веют буйны“ и пр.

„Играй, душенька, а я напишу несколько слов“, — и слеза невольно капнула на этот листок. Прочтите, непременно прочтите, маменька — голубушка, эту песню: брат или Иосиф Афанасьевич<sup>5)</sup>



укажет ее. Что за песня! Молодой козак простился уже с своей матерью, с сестрою своей милою, — и вот он мчится, одинокий, по пространной степи — и долгогривый конь его, чуя близость земли вражеской, взрывает копытами землю и пылью закрывает от молодого воина даль родимую, — но пыль не занесет звуков: козак слышит прощанье матери, тоску сестры, слезы милой — и мчится быстрой к земле врагов своих... Дочтете сами...

*Константиноград, в 50 верстах от Водолаз*

Я никак не ожидал от хохликов того, что вижу, т. е. видел. Другой пример: один в Мерефе, другой в Водолагах, хуторе. Я говорю о любви к музыке. Там меня забавлял Митя, восьми-летний мальчик, — здесь восхитил гусями сам хозяин хутора. Вообразите себе рослого мужчину, лет под сорок, с подрезанною бородкой, небольшими карими глазами, которые сверкают, как могильные огни, как гнилушки, с римским носом и густыми темнорусыми усами, ловкого, видного — вот игрок; а игра — не могу судить, ибо не знаток в музыке; скажу только, что я не слышал подобной игры. — В благодарность я напоил его пуншем.

Теперь я в Константинограде. Комната прелестна, и более всего потому, что за тоненькой дверью, в другой комнате — другая приезжая в карете — из Руси, — красавица. И что у нее за голос! Пишу, и не могу не слушать, как она разговаривает с девкой. Нежность, приятность и пр. и пр., как написано в подорожной.

Дорога из хутора в Константиноград мне показалась слишком длинна, и потому я заблагорассудил дремать; я бы и заснул, если бы не боялся потерять что-нибудь. Однако и дремля, я видел сон: видел вас, брата, Жозефа и несколько раз все то же и одно; наконец, до того, что, очнувшись и поговоря слова дватри с Романом, я как будто ждал кого, как будто мы все вместе и только на время, до того времени, пока я переговорю с человеком, что нужно, вы скрываетесь от меня. Еще одна странность: и в Мерефе, и в Водолагах мне слышался голос Ивана Петровича: и я два раза принужден был выбегать опрометью из кибитки, дабы удостовериться, что это не он — хотя бы я желал, чтобы это была неправда. Однако моя незнакомка опять заговорила. Послушайте, Иосиф Афанасьевич — вот настоящее московское наречие.

5

*11 часов утра. Пятница  
Станция Вшивая, в 22 верстах от Константинограда*

Всю дорогу от Константинограда до Вшивых — дождь мочил нас порядком, впрочем, не всем досталось; более всего Роману, которого хоть выжми. Ну, Вшивая! Название совершенно сходно.



с качеством деревни. Таких жилищ я еще не видывал, и в них живут малороссияне! Впрочем, такому житью виноваты они сами. Дорога столбовая, проезжающих чрезвычайно много — выгоды можно получать большие, но это проклятая лень, или, как говорит Иосиф Афанасьевич, гордость примешалась и тут, — и людей превратила в свиней: иные свиньи лучше живут. Однако вы, не подумайте, маменька, что я остановился в землянке. Никак нет-с. У меня прекрасная комната, изукрашенная картинками, образом, с презрительною мебелью. Как же это так? Откуда такая роскошь среди омерзительной бедности? Постоялый двор, в коем я остановился, содержится русским, и, следовательно, смышленным человеком. Он говорил мне, что не проходит дня, чтобы он не видал у себя десятка новых гостей; а иногда и зачастую набирается полный двор и полный дом. Правда, у него гостей было бы меньше, если бы мужики завели постоянные дворы; пока он один содержит.

12 часов

Ко мне в гости, т. е. в мою комнату, вошли... два купца, и попивают водку. „Кушайте, братцы, а я закурю трубку“. Наскучило читать Гердера. Пора отдохнуть.

*Голубовки, в 36 верстах от Вишней*

Дождь гудет, словно старая ведьма; но я спокоен: мы уже у места ночлега. Не знаю, хороша ли, худа деревня, в которой привелось мне ночевать, — то же скажу и о хозяевах, которых еще не видал, но не то должно сказать о хате: огромная, чистая; стены, потолок, пол, окна — разрисованы желтою глиной, благоухание васильков, мяты и пр. — словом прелесть хата; Полтавскую губернию нельзя сравнивать с Харьковскою: дичь, и глушь, невежество, бесконечные степи, по которым вместо хуторов расставлены стоги сена, печальные кустарники, дубовые и лозовые, вечные несносные бугры, вечные мостики и плотинки — строение верно для чертиков, и то бутылочных; согнившие дорожные столбы, землянки, стада свиней, болота, наконец, эта несносная грязь — и я не знаю, что может быть незанимательнее!.. То ли дело наша Харьковская: рай против ада. — В Перещепине, казенном селении, я переезжаю речку Орель. Окрестности ее почти живописны; но занимательные более всего по историческим происшествиям, до сих пор еще памятным народу и самой земле, носящей на себе свидетельство бывшего — курганы. Один из сих последних, под которым, по преданию народному, татарский воевода находится на самой долине, и лет за десять был чрезвычайно высок; но с того времени стал приметно уменьшаться, ибо землю его употребляют на засыпку болот по дорогам. Можно бы вместо этого употребить и навоз, но навоз здесь дорог.



Верстах в 4-х от Перещепина есть батарея из числа белгородских, выстроенных при Федоре Алексеевиче от набегов татар.

Малороссияне чрезвычайно похожи на немцев. Я был свидетелем, как четверо чумаков изволили пить пиво. Купили только полкварти и пили по крайней мере  $\frac{1}{2}$  часа с таким вкусом, с таким чванством, как будто нектар. Приобретения мои об Украине слишком скудны: в Водолажском хуторе списал три песни и одну думу; во Вшивой пять песен — и только. Правда, что песни все исторические, но все слишком мало; я ожидал более. Роман меня уверяет, что я наберу много в Варваривке. Он сам берется мне служить в сем случае. Если б да когда бы! — Слышал сказку о Серпяге, пояснившую мне как нельзя лучше одну думу; слышал несколько мифологических преданий, записал две страницы поговорок, вписал несколько слов в лексикон — вот и все. — Однако прощайте, маменька. Пора спать. Завтра рано надобно вставать; при том же и ночник догорает. Прощайте. — Что то поддельвает теперь Иос. Афанасьевич! Ужели в Деркачах? И ужели и вас тоже мочил дождь, как меня грешного?

*Новомосковск. Суббота, 12-й час утра*

Остается только 60 верст; однако едва ли можно будет поспеть туда, куда должно, т. е. в Варваровку. Слава богу, дождь перестал; а помочил бедных нас не на шутку. — Новомосковск — преизряденький городок. Комнатка, в которой я остановился — чудо: штукатурная, вся в картинах — можете представить, какого рода — прекрасная мебель — именно, чудо.

Какая жалость, — почта в Харьков отошла из Новомосковска вчера, и потому вы получите это письмо через неделю.

Екатеринославская губерния совсем не то, что Полтавская. Те же степи, но не то. Жители все почти богатые; табуны лошадей, гурты рогатого скота, овец — встречаются беспрестанно. Сенокосы превосходны. Природные поля усеяны курганами, особливо долина Самарская, на которой теперь пасутся татарские кони, пригнанные на продажу. На спаса в Новомосковске ярмарка.

Только что у меня был мой хозяин. Молодчина. — Лет 60-ти, статный, величественный, так бы гетманскую булаву, да на коня; этакое украинца я еще не видал. Но более всего понравился он мне своею готовностью служить мне, как собирателю всего украинского. Во-первых, он мне наговорил пропасть преданий о Самаре. У меня сердце билось крепко, когда он мне их рассказывал; потом продиктовал песню про реку Самару, наконец — думу. Обещает еще. Я напою его кофею — и, верно, получу, что хочу.

Пишите, сделайте одолжение, пишите мне по следующей почте. Хоть весточку от вас получить, если приходится не видеться.



Да пишите побольше! Вот увидите, какие письма буду писать к вам, лишь бы распорядиться порядком на месте. Теперь простите, что пишу немного: теперь и времени нет, и места нет иногда, а всего более не о чем. Иосифу Афанасьевичу напишу из Варваровки варварское письмо. Пусть только читает да по суббогам разбирает. И теперь бы написал, да, право, не хочется. К тому же, пообедавши, мы поедем в путь-дороженьку, а потому если б и захотел, то немного бы успел. Ожидаю от Иосифа Афанасьевича философско-политического письма, которое конечно будет написано чисто, аккуратно, без маракс и канцелярских украшений. Прошу его не мудрить, а просто писать, что на ум взойшло, точно в таком виде, в таких выражениях, как взойшло на ум, иначе всякое письмо Иосифа Афанасьевича стоять будет по крайней мере четверти дести почтовой бумаги; а ведь это не выгодно. Объявляю также Иос. А-у, что его Гердер немного подмок, хоть и не замарался, и прошу в этом великодушного извинения.

6

*Варваровка. Понедельник. 7 часов утра*

Третий раз здравствуйте, милая маменька! Я уже на месте. Комната моя почти прибрана. Книги, тетради, платье — все в порядке. Остается принять на себя учительские обязанности — и дело будет кончено. Пока еще я как гость в доме Подольских, хоть и гость коротко знакомый, а следовательно о своих хозяевах не могу иначе судить, как о помещиках, меня принявших под свой кров для того, чтобы вместе проводить веселее время. В сем отношении он и она — люди предобрые, простые, веселые, люди — каких не надобно лучше. Что касается до других отношений, то я не скажу ничего, ибо ничего не знаю: увижу, посмотрю, напишу.

Вчера после обеда (я приехал утром, часов в 11-ть) мы с детьми ездили верхом по берегу Днепра. Места прелестные, очаровательные. Днепр разлился на две версты в этом месте. Можете себе представить, какая бездна воды. Но эти широкие волны не льются, а кипят. Рев порогов подобен — право не придумаю, с чем сравнить его. — Представьте себе отряд всадников, пробирающихся сквозь чащу: шелест листов, цок копыт конских, храпенье коней, говор всадников, крик повелительный начальника — все это вместе — и вы будете иметь небольшое понятие о порогах. Впрочем, к ним должно присмотреться, прислушаться: с первого раза они незаметны, непоразительны.

Если кто знает Екатеринославскую губернию только по берегам Днепра, тот может подумать, что население оной чрезвычайно. С моего балкона видно четыре деревни и два села, одно подле



другого. Селение Синельниково на другой стороне — лучше других — одних господских строений 17.

Я уже говорил Катерине Романовне Б. о поездке, предполагаемой мною, в Александровск. Она согласна, даже более, нежели сколько я желал. За Александровском есть мыс Кичкас, — очаровательное место. Днепр течет между двумя скалами, одно от другой не более как на 60 сажен. Этот мыс находится от Варваровки в 40 верстах.

5 августа. Четверг

Уже два дня я учу — и не могу сказать, чтобы это было обременительно. Все дело состоит в задавании и спрашивании уроков. Дети понятливы, хоть и ленивы, но я задаю крошечные уроки, и они очень довольны, и я также доволен. Мне остается заниматься более 6 часов. Предовольно! Вот как истекает день будний: встаю с восходом солнца, выхожу на балкон, читаю Гердера. Умываюсь, одеваюсь — иду пить кофе (для меня варится маленький кофейник и особая кострюлька сливок превосходнейших), ухожу к себе, опять читаю Гердера. Занимаюсь с детьми и в то же время пишу к вам письмо. Отпускаю детей гулять и занимаюсь. Обедаю в 1-м часу. Пообедавши, иду в гостинную и болтаю с Иваном Тимофеевичем и Катериною Романовной; потом отправляюсь наверх за учение на полтора часа. Всякое послеобеда ученье состоит в упражнении в языках и в чтении. Во время учения пишу к вам письмо. Отпустив детей, занимаюсь. Потом верхом прогулка верст 6, 7 или более. Потом чай, болтанье, — наконец, иду домой и еще часа два занимаюсь. Наконец — *bonne nuit*.

Я очень рад, что поехал в Варваровку. Не знаю, каково мне будет жить; но что я накоплю пропасть, целую пропасть для своей украинской скрини, то это также верно, как  $2 \times 2 = 4$ . Даже самые дети мне радушно помогают. Я скажу более: Украины нельзя узнать порядочно, не бывши в этих местах; нельзя узнать порядочно запорожцев, не бывши на порогах.

7

Четверг. 5 число августа, 1832. Варваровка

Только что отдал письмо под № 3. Еще оно не от'ехало из Варваровки, — может быть даже сегодня и не уедет, а я уже принимаюсь за новое письмо. Видите, милая маменька, что я не совсем неаккуратен. Я за неперменное правило почел себе каждый день писать к вам хоть по несколько строчек. До сего времени все еще исполняю свое правило. Долго ли это будет продолжаться! — Сегодня перед обедом в Варваровку приехал офицер



Путей Сообщения. Он едет по Днепру для обозрения порогов. Правительство предполагает прорыть оные. О барках нечего и говорить: за все время моего здесь пребывания я видел только одну, и то все удивлялись и рассматривали оную, как чудовище морское.

Вечер

Пусть Иосиф Афанасьевич судит о воспитании, — я хотел сказать — образовании офицеров Путей Сообщения. Они проходят полный курс математики, в том числе и астрономию, — я же, грешный, в астрономии знаю столько же, сколько и днепровские раки; — и я грешный победил и новоприбывшего офицера в астрономическом прении о системе мира. Не хват ли я? По крайней мере, я удивляюсь своей смелости. И что же я доказывал ему? Как ты думаешь, брат? А вот что: послушай. Я доказывал, что земля, и все планеты, и все спутники имеют форму не круглую, а подобную воздушным шарам т. е.  $\nabla$  —  $a$ ; и что  $a$  есть северный полюс, в котором находится огромный гранит, заключающий в себе весь магнит земного шара. Одно из доказательств: обращение магнитного положения конца стрелки к северу; другое: неправильность фигуры луны в начале видимости оной, равно, если не более, при ущербе; и он наконец согласился, оставив за собою только слово *тяготение*, которое я назвал неправильным термином, а вместо онаго в общем смысле представил *равновесие*, а в частном — силою самостоятельной подвижности. Пришедши в свой кабинет, я не мог не расхохотаться и запел, невольно запел.

„Ой ревнули коровы, край порога стоя“. — Песня моя уже кончена. Строка в письмо ваше вписана. Остается взглянуть на пороги, освещенные теперь луною, послушать их грохот, — и лечь в постель за Северн. Пчелу, пожелавши вам спокойной ночи и радостных сновидений.

Пятница

После обеда уехал офицер, и мы остались одни. Сегодня я занимался с детьми не более трех часов в день; впрочем, они весь день со мною, хоть и не мешают. Один рисует, другой читает. Всякий занят своим делом, и я своим, друг другу не мешаем, и все идет ладно. Если так будет продолжаться, то мне хорошо. Ах, только вас, одной вас недостает, маменька. Были бы Вы, и я бы совсем был человек как надобно, а теперь, или от непривычки, или от настоящего чувства любви к вам, не могу не грустить, особенно когда один. Поверите ли, я в забывчивости несколько раз выходил из своей комнаты, думая, что иду в вашу половину, — но разочарование как тут, и я повеся голову продолжаю ходить по своей комнате один-одинехонек. — Гулять



сегодня не ездил, а ходил к Ив. Тим. и Кат. Романовне смотреть постройку. Для вновь купленных русопетов строятся две деревни на берегу Днепру.

*Воскресенье*

Я забыл вчера сказать вам, что я был вчера на Тягиньке; т. е. в лесу, который принадлежал запорожцам, что доказывают остатки землянок, а теперь Синельникову. Вид с горы прелестный.— Скоро, скоро на Кичкас. Там ли виды! Мы поедем с старшим сыном в бричке, возьмем с собою три седла. Приехавши в Александровск, лошадей оседлаем и с Мих. Иванов. (Криницким) отправимся странствовать.

8

*Барваровка. 14 сентября*

Сегодня воздвижение, большой праздник. Каково - то вы проводите его? Скучно - ли, весело - ли? Я провел довольно скучно, исключая вечера. Собравшись в семейный кружок, мы прочли письмо Бестужева „Сибирь и Кавказ“, говорили, смеялись.— Надобно знать: Иван Тимофеевич большой балагур, и умеет прекрасно рассказывать. Между тем девки на одной, лакеи на другой галлерее составили хоры — и поют и пляшут. В деревне хоры раздаются также. Ненасытец поет также свой неумолкаемый хор, — и весело и скучно, или лучше сказать грустно: если бы вы были тут же. Это бы и возможно, и очень возможно, но я боюсь, чтобы всем здесь не наскучило, а более не понравилось. Кроме того, зима и дом холодный — хозяева мои переберутся во флигель, а я с детьми — в две небольших комнатки, немного теплее других. Итак, маменька, — я боюсь за ваше здоровье в этом климате, здоровом для здоровых, вредном для слабых. Иногда бывает такой туман, что не разберешь ничего в двух шагах от себя. По Днепру каждое утро ходят целые горы тумана, и роса падает с крыш, как от порядочного дождя.

*16 сент. Четверг*

Простите меня, добрая маменька, что я часто пишу неразборчиво. Постараюсь избавиться от сего порока; а причиною сему, право, не недостаток уважения к вам, а глупая ветренность, от которой я никак не отвязусь. Что пишет Иван Николаевич? Почему так редко удостаивает меня своих весточек Иосиф Афанасьевич? Просил бы и брата — о том же; но боюсь его. Может быть, он сердит на меня, что я не пишу к нему отдельных писем. Хорошо, буду писать к нему отдельно, только пусть он не забывает брата - отшельника. Нет, когда перееедем весною в город



я буду жить дома. И куда как веселее! Тут как ни просто, а все требуется осторожность, даже самая ласка и готовность сделать все для меня, и она мне кажется приторною: она чужая — и корыстная. Вы знаете мою любовь спорить — а теперь не с кем. То ли бывало, как с Иос. Аф. заведемся! — Отнюдь нет — с я никогда не спорил с Из. Иван. — Иос. Аф. верно сказал это, если он слушает это мараение.

Занимайся, брат, хорошенько, плотно, как говорится. Может быть, случится некоторая перемена в нашем состоянии, поважнее той, которая случилась со мною по случаю отъезда в Варваровку. Может быть мы переедем в Москву. Маменька, верно, не откажется оставить душный Харьков. Я уведомлю обо всем подробно тогда, когда узнаю сам хорошенько. Занимайся потому хорошо, что надобно перейти в Московск. университет с хорошим свидетельством из здешнего: иначе не переведут на третий курс. Относительно твоего подвига с Венедиктовым — не скажу ничего, ибо не понимаю этого человека. Впрочем, говорят, он добрый человек. Будь осторожен. Что касается до твоего ответа педелю, — то я очень обрадован, — и желаю, чтоб ты был всегда таким.

Здравствуйте, почтеннейшая маменька! Мне сегодня скучно и я принялся за лучшее свое удовольствие — писать к вам. Ах маменька, вы не поверите, как мне грустно! И сам не знаю: чего! Нет, знаю: я далеко от вас. Так и желал бы скорее к вам.

Настоящая жизнь моя течет тремя колеями: учу — занимаюсь — живу, т. е. сплю. Именно во сне, т. е. в мечтах, и живу я, как бы желал жить, среди родных, без горестей, без забот, без этой проклятой скуки, которая наполняет табачным чадом и комнату, и голову, и кроме чаду ничего в ней не поселяет. Чем более живу здесь, тем несноснее, — не потому, что мне худо. Нет, хозяйка мои люди прекрасные, сердятся, когда я церемонюсь, ловят мои желания — однако все чужие: некому поверить мне ни своих чувств, ни своих мыслей; и мысли и чувства чахнут; и между тем как бы мне ни было скучно, я должен казаться веселым, ибо Иван Тимофеевич скучает без меня, и следовательно должность моя веселит его, — должность иногда очень неприятная; особливо теперь: читать ему нечего; а рассказы наши обыкновенно касаются до 2-х предметов: христианской религии и верности супружеской. Разговор о первой всегда один и тот же, тот же и один, только в разных формах; а о последней любопытно, и то может не всегда, рассказывать тем, кои знают счастье и несчастье оной. Иногда я стараюсь разнообразить разговор, говорю



о сложении гор, о нареченной невесте моей, княгине Белосельской, и нареченном супруге оной, князе Срезневском - Белосельском, о падающих звездах, о подвигах запорожцев, — и все это так скучно и так неизбежно, как и прогулка в новопостроенную деревню, прогулка, во время которой, завернувшись в плащ, повторяю: да, точно, прекрасно, считаю камни по дороге и глазами меряю оставшееся расстояние.

На прошлой неделе я послал в „Телескоп“ статью свою под названием: *Первоначальное образование Слободско - Украинских полков во время царя Алексея Михайловича*, с подписью: И. С. Варваровка 7), Если будет напечатана, то сделай одолжение — уведошь, брат, меня, и сколько она заняла места.

Бывши с Михайлом Ивановичем на Кичкасе, мы подходили к знаменитой пещере, называемой „школой“. Вид ее удивителен. Названа потому, что в ней когда-то нашли книгу. Если вам будет угодно послушать сказок про нее и про другие вещи, то извольте: в каждом письме найдете по кусочку, и тем более будет кусочек, чем менее будет предметов для письма. Вот, напр., теперь думаю, думаю, что бы написать: конечно решительно ничего.

10

*Октябрь 19, 1832. Варваровка*

Боже мой, что за соседи здесь! Неиз'яснимые люди! Непостижимые люди! Вот один — багровое лицо, сизый нос, опухшие глаза, засмаленный фрак, сшитый по моде 1820 года и жлет на каждом слове; выдает себя за знатного барина, за богача — и весь в долгах; выдает себя за умника, за каламбуриста — и гордит такую чепуху, что уши вянут. Имеет много детей, — два в корпусе, дочь окончила воспитание в Екатер. пансионе, говорит по-гасконски, играет на фортепиано, перелистывает французские книжки, с отцом обращается, как с управителем, — и урод лицом. Она ездила с отцом в Екатеринослав на выборы — сама в карете, отец сзади на дрожках; караван довершается волами, кои тянут пустую карету для грядущего жениха. Вот другой — статский служака — получил имение за женою. Жена полуумная, бесится каждое новолуние; но он равнодушен — он рад жениному имению, хотя оно и все в долгах. Он думает об одних барышах — 14-летнюю дочь свою отдал за 50-летнего брюзгу только потому, что у этого брюзги 40 душ. Вот третий — баба-торговка в три обхвата, пузо не вмещается на коленях, — у нее дочь в два обхвата — по словам маменьки — 18-ти лет, но от роду не менее 25-ти; об'являет, что у нее книжка есть: сказка о 7 братьях; щеголяют на таратайке в 150 рублей, солом. шляпе, а всего владений 2½ души. Вот 4-й — старик лет шестидесяти, забыл



жену, забыл детей, завел гарем,—и с прелестницами играет в горелки — владеет 3000 душ.— Но к чему распространять описания? — По крайней мере, вы можете судить о соседстве нашем и об удовольствии, какое можно находить в подобном кругу. Ах, если б только скорее к вам.— Вот уже два месяца только осталось! Пройдут и они!..

А между тем уже три недели — и нет от вас вестей! Что бы это значило? Знаете что, маменька, — адресуйте иногда письма на Федора Степановича Евецкого. Екатеринослав, с передачей мне. Это будет вернее и скорее. Посылки в Екатеринослав у нас часты. Иногда два раза в неделю: а в Новомосковск иногда и в три недели раз только посылают. Ведь это скучно и горько: и есть письмо, да не получаешь.

Спасибо Евецкому, он меня снабжает книгами, — и мы теперь с ним ведем преаккуратную переписку. Я очень этому рад.

11

15 ноября. Варваровка

Я провожу время уже не так скучно, как прежде. Ближе и ближе я осваюсь с милым семейством моих хозяев, — и действительно, — принят как родной. Это правда, и я должен признаться, что это отнимает у меня время, но вы подумайте, маменька, сидеть вечно одному в своей конуре — учить и учиться — мучить и мучиться — ни с кем ни одного приятного слова: это горько. Вы знали, как я не любил романов — теперь именно от этого одиночества, от этой скуки решился читать их — читаю всегда вслух — это бывает обыкновенно вечером после чаю. Теперь мы читаем Редгонтлета. Сегодня кончили другую часть. Признаюсь, мне очень оно не нравится. Принуждаю себя находить в нем хорошее, принуждаю себя смотреть сквозь пальцы на его болтовство — и все нет мочи: порет дич — не более. Недавно читали роман: Сен-Меран — французское сочинение, но прекрасное. Советую брату достать и прочесть вам вслух. Мы его прочли с большим удовольствием.

Если библиотека покойного Гулака<sup>8)</sup> продается, то нельзя ли купить для меня из оной сочинения Немцевича под именем Dzieje panowannja Sigmunta III-go на польском языке. Пожалуй постарайся через кого бы то ни было. Три тома рублей 40.

Сейчас только ходил по льду Днепровскому. Прозрачный, как стекло, и толст четверти на три уже. Вид с реки на дом и деревню прекрасный. Относительно песен Максимовича — не пересылайте их до времени, милая маменька: ибо уже недолго остается.



26 октября 1832<sup>го</sup>). Екатеринослав

Почтеннейшая маменька! Случай — и вот, как видите по надписи, я в Екатеринославле. Отчасти желание увидеть Федора<sup>10)</sup>, отчасти другое желание или, правильнее, любопытство узнать амперию нашу в ее центре; дрожки запряжены, сел и поехал. Вчера в 1 час после обеда я увидел Федора; в три часа поехали по Екатеринославлю, выехали весь; вечер провели так весело, что и до сего времени вследствие хохота головная боль отзывается довольно чувствительно.

Теперь что вам сказать о центре амперии, в которой имею теперь свое жительство? Довольно того, что я не ожидал от Екатеринославля того, что увидел. Прекрасная улица, вдвое шире нашей Сумской, составляет основу города. Прекрасные дома лентой тянутся по обеим сторонам улицы. Перед каждым домом палисадник. Дом Шекутина прелестный. Я не могу сравнить его ни с одним из харьковских, ибо такого дома нет в Харькове; в петербургском вкусе, в два этажа с половиною — великолепное зданье. Фабричные здания, оканчивающие город, огромны и также очень хороши. Улица тянется около полуторы версты, углом по изгибу Днепра. Церквей только три. Новый собор строится на горе подле развалин Потемкинского дома. Какое грустное чувство невольно вселяется при взгляде на это разрушение. — В нем когда-то Екатерина, Иосиф, — Потемкин угощал их столом и своим прожектом об изгнании турков из Европы. Крыши уже разрушены; полы также; но штукатурка еще сохранилась и превосходная лепная работа также. Сегодня только что я имел удовольствие свидетельствовать свое почтение добрым старикам, родителям Евецкого. Прекрасные люди, они приняли меня очень ласково. После обеда еду обратно. Извините, что письмо будет слишком коротко. Фантазировать не хочется, а дела писать право нечего; и потому если я скажу вам, что я здоров, чего и вам желаю, то запас мой истощен, и я должен по необходимости кончить письмо...

Варваровка. 1 декабря 1832 г.

Уже декабрь! Я теперь считаю каждый день, и с каждым днем подходит ближе радостная минута. Вся цель моя теперь — увидеть вас, поговорить с вами. Скоро, скоро! Одно только теперь меня беспокоит — Михаил Иванович<sup>11)</sup>. Ах, если б не было никакого препятствия относительно его отпуска! — С этою



же почтою вы получите и другое письмо мое: из Екатериносла-  
вля. Вы верно, милая маменька, не осердитесь на меня за то,  
что на поездку к Евецкому издержал 480 копеек. Зато я видел  
Евецкого, провел с ним счастливый день, увидел и обозрел  
Екатеринославль, проездил, был на той стороне Днепра, ви-  
дел развалины потемкинского дома. В понедельник я обедал у  
Евецких. Добрые, умные старики. Они приняли меня очень ла-  
сково. За обедом я познакомился со стариком Цыхом. Предоб-  
рый старик — немчик, забавник. Я забыл вам сказать о пожа-  
рах Екатеринославских. Уже в продолжение целой недели они  
продолжаются непрерывно каждую ночь. В числе сгоревших  
строений и синагога жидовская, большое здание. Остались толь-  
ко фундаменты; и на беду случилось, что в пятницу, ночью, на-  
кануне шабаша. Закон запрещает в это время жидам трудиться.  
С своим и визгом они кружились около пламени, воздевая омы-  
тые руки свои к небу; русские не принимались тушить от суе-  
верия. — Такая непрерывная цепь пожаров, само собою разу-  
меется, предполагает поджогу. Подозревают в этом пленных  
поляков, живущих теперь в Екатеринославле. Рассказывают мно-  
гие анекдоты: как одному мещанину грозил поляк поджечь его  
дом, если не даст ему денег; как польский мальчишка бросил  
в бочку с дегтем начиненную порохом и подожженную сумку,  
и пр. и пр. Весь Екатеринославль в страхе. Жители учредили  
из себя квартальный обход, но ничего не помогает. Пожары бы-  
вают по большей части рано вечером или часов в 6-ть утром.  
Перед сим несчастным временем Екатеринославль пировал: бес-  
престанные балы, конская скачка, поднятие колокола на коло-  
кольню вновь строящегося собора и пр. О сем последнем ска-  
жу подробнее: когда привезен был колокол на барке, искали  
подрядчика, который перевез бы его на гору к собору. Никто  
не согласился менее пятисот рублей взять за такой подряд: та-  
кова гора! Тогда народ, поставивши колокол на полозья, тор-  
жественным шествием повез сам своими руками этот колокол,  
духовенство и чиновники сопровождали пятитысячную процессию.  
Даже дети и старухи хватились за стосаженную веревку, будто  
помогая своим отцам и сыновьям. В полчаса колокол уже был  
на горе. В две минуты его втащили на верх колокольни. —  
Брат писал мне когда-то, что Гулак умер. Правда ли это? Я в  
Екатеринославле слышал противное. Верно, брат поверил лож-  
ному слуху, а потом забыл исправить свою ошибку. — Старик  
Цых рассказывал, что сын его получил ад'юнкта и магистра, и  
радовался. Я не хотел уничтожить его радости ни даже сомне-  
нием. Но скажи, пожалуйста, брат, ужели Гордеенко<sup>12)</sup> и Криво-  
роты<sup>13)</sup> добились магистерства? Если Цыха сбили, то их обоих  
стоило бы сделать истопниками в университете: а сделать их  
магистрами, удаливши Цыха — срам университету. Если сложить



целый легион Криворотовых, то и тогда не составится ни одного Цыха — ни по уму, ни по знаниям. Я возвращался из Екатеринославля вечером. Мятель играла в воздухе. Я закутался — и заснул. Кучер — чудо, лошади — тоже. Летим. Я проснулся, когда с'езжали с горы к Днепру. Тпру! Кучер соскочил искать дороги через Днепр, наконец помощью мужика отыскали и поехали по льду. Вода подо льдом гудет. Лед трещит, но это вовсе не страшно, провалиться нельзя. Лед уже в аршин толщины; а скучно то, что едешь по льду. По Днепру лед обыкновенно становится шерогом. Как бы это вам рассказать? Легкий лед в начале зимы ломается волною, — становится друг к другу боком и замерзает постепенно, начиная от нижнего порога к верхнему. И так лед вдруг становится толстым, но чрезвычайно неровным: один кусок льдины выдался, другой впал. Когда Днепр станет прокладывают дорогу, то — есть чистят, чтобы удобнее было ездить; но это не помогает. Едешь — и беспрестанно гнешься то на одну сторону, то на другую. Под колею вечно попадает льдина, — и так тряско надобно ехать около двух верст. Вы не можете себе представить, как у меня болели ноги после такого странствия. Точно будто кто их перещупал кием...

14

*7 декабря 1832 г. Варваровка*

Лети, лети, время, скорей, скорей! Ах вы, душенька маменька, ждите колокольчика. Скоро, скоро...

Уже я начинаю приготовляться к пути. Вчера вечером перебирал и приводил в порядок тетради. Пересматривая таким образом свои кипы, я увидел, что время не совсем потеряно. Украинская скрыня моя выросла или, лучше сказать, подросла очень приметно. Собрание словацких песен тоже увеличилось, ибо и к нам в деревню два раза заходили словаки: разумеется, я не пропускал случая. Собственно мои труды также шли не даром. Приехавши в Харьков, я буду просить у вас кое в чем советов, милая маменька. На советы чужие и не могу и боюсь положиться...

15

*16 дек. Варваровка*

Последнее. Слава Богу, слава нам!

... Как увидимся, то, я думаю, и в две недели я не успею пересказать всего, — а как писать в письме, то того не хочется, того не можно, того не ловко, и таким образом предметы письма уменьшаются в количестве и сходятся к очень небольшому числу самых глупых мелочей. На прошлой неделе был у нас за-



седатель. Это лицо довольно аккуратно выражает место, им занимаемое.

Приехавши в Харьков, я когда-нибудь опишу вам формально все лица, коих лицезрением я наслаждался в здешних местах, опишу всю этнографию украинских степей самым верным образом, с прибавлением бесчисленных анекдотов. Юмористический целый роман в руках, — стоит приняться написать, — только не хочется.

Последнее время я занимаюсь собиранием преданий о запорожцах. В воскресенье ожидаю к себе старика-болтуна, который должен рассказать многое. Знаете ли, как добр Иван Тимофеевич: следующею весною я поеду по Днепру, то водою, то сухим путем, и обозрю все пороги и острова самым верным образом, а если вы позволите мне издержать 30 рублей, то буду в состоянии доплыть до самого Херсона и до Черного моря и вернуться назад в Варваровку на почтовых. Туда на барке почти даром. Путешествие самое веселое. А летом непременно поедем с вами в Изюмский уезд. Я столько наслышался о красоте оного, что грех не увидеть его. Но это все зависеть будет от вашего позволения.

А затем прощайте, милая маменька, до свидания!

*Из. Ср.<sup>14)</sup>*

*Варваровка. Гев. 17, 1833*

Желаю здравствовать, маменька! Здравствуй, брат! Уже 4-й день, или 3-и сутки, как я в Варваровке. Михаил Иванович уехал вчера. Все шло по-прежнему, тихо, медленно. Катерина Романовна и Иван Тимофеевич еще лучше со мною. Дети любезны. Все обрадовались мне, как родному. Я сказал Катерине Романовне, что вы позволили ей не только ставить меня в угол, но и совершенно передали ей право маменьки; а вследствие сего, я, благодаря, говорю ей: *merci, maman*. Дней через десять они будут в Харькове проездом в Воронеж. Вот наш путь:

— Первая станция была пребеспокойная. Я более шел пешком. Потом лошадь пала. Потом в Мерефе с кибиткой. Я осмотрел ее: починять было долго. Мы оставили ее и поехали далее в Водолаги... В Водолагах мы отдохнули. Часу в 8-м утра приехали в Староверовку... В Константинограде я пролежал больной; выпил полбутылки красного вина, и лучше стало. Утром приехали в Новомосковск на другой день, а вечером в Варваровку. В Новомосковске я купил экипаж — да-с — экипаж, простите, извините — заплатил дорого — да я купил в надежде, что он пригодится, — розвальни за 8 рублей...



... Я не отложил намерения издавать Альманах под именем „Отрывки“. Содержание : повести, путешествия и исторические отрывки. Если увидите с Петровым<sup>15)</sup>, то именем своим попросите для меня у него статьи о Сибири; а я ему пришлю обещанное по следующий почте<sup>16)</sup>. Теперь некогда писать, а то и теперь бы прислал.

Известите, маменька, об этом и Ивана Николаевича : да еще вот в чем дело. Я хочу напечатать в альманахе своем его отрывки из писем без подписи имени, а звездочками. Согласится ли? не сердится ли? Еще маленькая просьба, почтеннейшая маменька : сделайте милость, попросите Иосифа Афанасьевича, чтобы он сократил для меня статью из Annales des Voyages Мальтебруна о Северных землях, которая поясняет карту Зено. Он знает. Я думаю, что он по доброте своей не откажется это сделать, тем более потому, что эта статья мне очень нужна. Пусть извинит, что не пишу к нему : ей-ей, некогда.

Когда Иван Тимофеевич будет в Харькове, то сделай милость, брат, вручи ему мой Телескоп (2 тома), достань остальное у Рейпольского; пожалуйста, достань. Вчера мы читали Саламанского студента и хохотали.

У нас весна. Снегу нет. Днепр тает. Я ездил верхом в одном архалуке. Стадо в поле. Кое-где пробивается молоденькая травка ...

... Хотел бы вам написать какую-нибудь новость, та щоробити? — Немає ніякої. — По вечерам занимаюсь перепиской статей альманахных. Недели через две пошлю в Москву рукопись, уже переписанную. Вы может быть, удивляетесь простоте названия моего альманаха : чем проще, тем лучше. Статьи любопытные. Не угодно ли прочесть заглавие приготовленных уже? Вот оно :

*Повести* : Вук Абрам (Евеекого), Туфли (арабская пов.), Мой дядя (моя), Фермата (Гофмана, пересказанная мною), Веселянка (предание), Блуждающий жид (Шуберта).

*Путешествия* : Чатырдаг (Филомафитского), Чернигов (Кулжинского), Жители западных Пиринеев (Фишера из Москвы), Рассказ бывшего в плену у дикарей Северной Америки, о Сербии ; Осетины (Яновского), О Грузии (Евеекого).

*Смесь* : О молдавской народной поэзии, Мысли и замечания, Письма о санскритской литературе и языке ; о магометанах (Ив. Ник. Соколова).



Это еще не все. Если Петрову захочется знать содержание, то пусть полюбопытствует. Если можно будет, то я постараюсь еще достать повестей, дабы сделать альманах любопытнее...<sup>17)</sup>

*Варваровка. 1833. Среда 21 февр.*

... Вы пишете мне, маменька, относительно Полторацкого<sup>18)</sup>. Брат сказал, что я не соглашусь, — а я, напротив, рад случаю; разумеется, лишь бы на таких условиях, кои могли бы мне доставить такое покойное житье, как теперь; хоть и хуже немножко, то ничего. Мне теперь — чудо: одно то, что я не таскаюсь по пансионам; лишь бы вы, маменька, согласились. Понемногу, нет — по многу, я занимаюсь, и наконец выслужу свое. Служба не уйдет, а деньги нужны. Одно, что я не подле вас. Ох, тяжело мне иногда от этого, да что делать! Я уверен, что вы теперь не грустите о недостатке: с меня и этого достаточно. Я покоен, я счастлив. Это правда, я не забываю о магистерстве, но едва ли в Харькове. Мне бы хотелось так распорядиться: поучить несколько лет, потом сыскать компанию за границу, дать в доктора, да и свиснуть опять на Русь. Мне еще 20 лет 8 месяцев. Если и еще 4 года погуляю, то много. А между тем есть много времени для занятий, и больше охоты заниматься по воле. Впрочем все будет, как богу угодно. Будет то, что будет, а будет — что богу угодно, как сказал Хмельницкий. Я положил себе за правило каждую неделю написать какую-нибудь статью, две недели ее поправлять, а на третью отсылать в журнал. И это скрепляет мои занятия, а между тем главное мое занятие, любимое — история Украины — идет само собою не в счет. Прошлую неделю послал в Телескоп: О Зендавесте<sup>19)</sup>. Нынешнюю, если успею переписать, перепишу о Вико<sup>20)</sup>. Будут ли напечатаны, об этом брат меня уведомит...

*Варваровка. 1833, февр. 24*

Не знаю, что и подумать, милая моя маменька, о вашем молчании на прошлой почте. Такое критическое время, как теперь, невольно наводит подозрение. Здоровы ли вы? Не больны ли? Не больны ли отчаянно? Или, может быть, вас мучит боль глазная? Никогда я столько не беспокоился, столько не грустил, не призадумывался, не мешался в разговорах, не наводил скуку на других, как теперь, начиная с прошедшей субботы. Не знаю, что и подумать, как и разгадать. В другое время я только жалею, что от вас ни строчки, но тепер, тепер, когда вы сами уведомляете:



меня о поветриях! Маменька, добрая маменька, ради бога, не пропускайте ни одной почты, пока в Харькове не будет все покойно. Хоть по несколько строчек руки вашей, — и с меня довольно. Пусть брат дописывает остальное. Ах, если б вы знали, маменька, как тяжело мне; грушу, и как будто по какому-то предчувствию. Конечно, у вас есть медики, близка помощь, — но, пожалуйста, душенька маменька, не болейте, будьте здоровы, да не забывайте вашего степняка. Для него лучшее удовольствие, и единственная отрада — весть от вас. Теперь только я почувствовал, как тяжело расставаться с родными, как тяжело сносить горе отдаления от родной. Нет, мое определение жить подле вас неразлучно. Тогда только я спокоен, счастлив. Если огорчу вас невольно, — вы простите меня; а теперь некому огорчить, некому и приласкать. Просто былинка степная. Однако я расквасился. Может вы здоровы. Ах, если бы! — Вы получили мое последнее письмо и в нем вид Днепровский. Теперь каждое утро я брожу по берегам Днепра и снимаю виды. Есть вид Ненасытянца: вид порогов Звонецкого и Волошского и пр. Понемногу составляю порядочный портфель. Память со степей. Хочу нарисовать вид Днепра, ночь, горят степи, Днепр пылает. Если б удалось. Жаль, бумаги нет хорошей. Завтра воскресенье: еду с Алексеем Ивановичем <sup>21)</sup> на Вороную. Там живет 97-летний старик Гречка. Он был запорожцем, знает много важных неизвестных историй, происшествий. Буду расспрашивать; а Катерина Романовна обещала зазвать волошку и списать у нее молдавские песни с переводом. Это вместо сюрприза...

21

Варваровка. 1833, февр. 27

Несколько уже дней я зритель пожара степей. Зрелище для меня совершенно новое и поразительное. Я бы желал познакомить вас, милая маменька, с этим пожаром; но что делать — вы не родили меня ни поэтом, ни живописцем. Если бы я решился описать вам этот пожар в красивых периодах, то только бы насмешил вас своим кислоречием; если бы нарисовал, то вы бы не поняли. Придется ограничиться одним сказанием о том, как и для чего производятся подобные пожары.

По степям днепровским растет высокая трава, подобная хлебу, густая, высокая. Здесь называют ее *комышем*, *ковылею*, *тирсою*, как угодно. Когда-то, в прежнее бывалое старинное время, этот комыш бывал так высок, что за ним не видно было рогатого скота, — настоящий лес. Теперь, когда степи населяются все более и более, комыш унизился; но и теперь в иных местах он выше 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> арш. В продолжение целого лета он растет, зеленеет; осенью сохнет и во всю зиму стоит крепко на стеблях



своих. Ветер только играет им. Весною, когда снег спадает и солнце пригреет землю, степняки начинают жечь этот высохший лес комышу, дабы скорее росла молодая трава; берут пук самого тонкого комышу, сгинают в ложку, кладут огню в оную и, когда пук запылает, они начинают поджигать степ, приложивши пук к земле и бежа таким образом перпендикулярно к ветру, по прямой линии. Полоса запылала, ветер погнал пламя, и вот степ покрылась вся огнем. Она горить до тех пор, пока сыщет себе какую-нибудь препону, хотя небольшую дорожку. Если желают, чтобы пожар пошел далее через дорогу, перекидывают огонь, и пламя бежит далее до новой препоны. На эти пожары любо смотреть ночью. Небо играет заревом, пламя и дым выются клубами, Днепр будто горит, и волны, переливающиеся через пороги, сияют мрачною радугою. — И все тихо и все глухо, как в могиле, только изредка вой волка пробудит спящих собак или порыв ветра прервет тихий ропот порогов, и пороги взбурлят, и вспенятся волны...

Что-то делается с Иосифом Афанасьевичем? Что поделывает его око всевидящее? Или он еще ничего доселе не видит? Жаль. Я представляю себе его отчаяние. Он так любит читать и заниматься, а при глазной боли должен ограничиваться одними своими мыслями. — Я хотел к нему писать письмо, но подумал, что равно он отложит чтение его, а потому и решил подождать его собственной писульки. Тогда напишу зело много. — Я теперь, маменька, знаю старину запорожскую, как свою собственную жизнь. Мало-по-малу и собрал сведений очень много. Особенно мне помог *Гречка*, о котором я писал к Вам в прошлом письме. Часов пять я провел прошлое воскресенье на Вороной, все разговаривал со стариною, и слышал и узнал очень многое. Гречка был сам запорожцем и всему очным свидетелем, — жаль, что ему изменяет иногда память, но в таком случае я его недоумливаю, он напоминает, поправляет мои ошибки, и дело ладно. Гречке 97 лет. Ему было уже 15, когда он присягал Петру III-му. Происшествия за его память он рассказывает чрезвычайно подробно и, что всего любопытнее, по-своему, как запорожец, с его верованиями, с его политическими мнениями. Живой памятник минувшего! Скажите, добрая маменька, что пишет Иван Николаевич. Упоминает ли он когда-нибудь обо мне? как упоминает? Вот уже два письма я написал к нему: одно до Рождества, другое тотчас по приезде. И ни слова. Ужели он сердится на меня? Ужели я виноват перед ним? Я по крайней мере желал бы знать вину свою. Но так темно быть виноватым, осужденным, — бог с ним, с добрым Иваном Николаевичем! Я вовсе не заслуживаю, кажется, презрения от него; но и навязываются, прибегают льстить — не намерен ни перед кем, тем более перед Иваном Николаевичем, которого я душевно почитаю, люблю и обязан многим: тогда бы



только я был тем, чем угодно, как, видно, считать меня теперь Ивану Николаевичу. Я уже не смею теперь относиться к Ив. Ник. ни с просьбою, ни с советом, ни с чувствами, словом: слова мои только увеличивают в нем худое обо мне мнение и наскучают ему. Для чего же терять их? Я знаю, что если Иван Николаевич любил меня, то для меня же, из желания мне добра, пользы, счастья; а я могу любить его только для себя. Разница большая. Прощайте, добрая маменька! — Не забывайте вашего сына.

И. С.

... В нынешнюю неделю у нас пропелось несколько самых жестоких бравурных арий. Отчасти у меня голова ходнем ходила.

Алексею Ивановичу разрешили не быть студентом. То была первая бравада. Ему наскучило учить большие уроки; он объявил несколько раз досаду свою маменьке и папеньке. Папенька обрадовался, что сынок хочет итти по батьку. Маменька, вероятно, сжалась над любимым болваном, и Алеша вступил прямо в военную службу. То-то будет настоящий Кабуд, путешествовавший в Мекку! Мне было досадно такое решение. Все труды мои пропали. Я представлял и то и другое, но разумеется, выслушали, да не послушали. Это обыкновенно бывает, и я только расхохотался. Пусть что хотят, то делают, мое дело было сказать; а по расположению ко мне и Катерины Романовны и Ивана Тимофеевича, вечно допрашивающих и меня, что касается до мыслей, — я не мог сделать иначе: пересказал все откровенно. Теперь Алеша развязан и пошел ослить; учится прегадко, думает об одном ружье, а об уроках вовсе нет думки. Я предварил родителей о следствиях позволения. Мое предсказание сбывается.

Целое семейство мужиков, т. е. отец и два сына из новокупленных русских, бежало из деревни бог весть куда. То была вторая бравурная ария, которая не кончилась и доселе. Ив. Тим. посылал погоню по всем дорогам, но не отыскали. И причину побега трудно отгадать. Снялись да и пошли, оставляя жен и детей, вероятно, с намерением при случае взять и их к себе. Были допросы, были арапники — все тщетно. Удивляюсь стойкости русского народа. Хохол никогда не будет так стоек. Розыски продолжаются. Угадывают место, куда бежали. Надобно знать, что в здешних местах есть много панков, которые бестрепетно принимают к себе беглых, обременяют их работами, и ничего не платят, угрожая судом. Но таков предрассудок: мужику лучше жить *под паном*, нежели *у пана* по крепости. Думают, что беглые отправились к одному из таких панков, который имеет хутор около Елисаветграда.



Днепр ломает. То третья бравурная ария. Но какова смелость народа здешнего! Вчера начало ломать лед, а третьего дня и вчера даже утром ходили и ездили! Впрочем эта смелость искусственная. Ходят в такое время по льду и ездят только одни синельниковцы. Барин приказывает, страшает арапниками, — бедняжки ходят. Каждую весну потопает синельниковцев до 18 душ. А как бы вы думали, кто причиною такого погона бедных? Belles maitresses Синельникова, который живет с ними не как султан или паша, а как нижайший раб, не смеющий ослушаться приказаний своих повелительниц. Синельников покровительствует разврату в своих имениях лучше, нежели наш государь просвещению.

На этих днях у меня была развалина запорожская, старик лет 80, бандурист. Много я расспрашивал его, многое узнал. Списал несколько дум и песней старинных. Теперь, маменька, я знаю Запорожье не хуже азбуки. Мало-по-малу, тихо-по-тиху да и дополз. Однако не перестану заниматься. Труд мой, почти семилетний, не должен остаться без окончания или без пользы. Начну с того, что перепишу набело аккуратно все свое собрание. Куча будет порядочная!

Прощайте, маменька! прощай, брат! Да, ради бога, не забывайте вашего степняка...

Еще почта, и опять от вас нет письма. Господи боже мой! Я настоящий сирота. Неоткуда мне получить вести, нечем порадоваться... Милая маменька, теперь я знаю, что значит любить и как я люблю вас! Может быть, я желал бы даже быть равнодушнее, желал бы забыть свое горе, — но нет, оно слишком близко сердцу, им все оно занято. Я плакал, читая слова Вернера: „Бог и мать — вот что должно занимать меня“ и пр. Нет, Вернер не обманывал, говоря это. Я это чувствую по себе. Письмо, привезенное мужиком русским с посылкою — было последнее. Пять недель прошло, — и хотя бы кто строчку. Ни вы, ни брат, ни Джунковский. Ужели я недостойн строчки? Одна только строчка вашей руки, маменька, — с меня бы и ее довольно. Наконец, я прошу вас на предбудущее время, — не пропускайте ни одной почты: хоть по несколько строчек пишите ко мне, но пишите. Это не составит большого счета. Мне не нужно харьковских новостей и пр., мне нужна весть о вас, о вашем здоровье, — уверение, что вы не забыли, не сердитесь на меня.

На прошлой почте я писал письмо к Евецкому, чтобы он уведомил меня, может быть, у него лежат письма ко мне. Но ответа через почту ждать долго. Иван Тимофеевич был так добр, что приказал снарядить дуб, и завтра Роман переправится на ту



сторону и поедет в Екатеринославль. Послезавтра поутру я получу ответ. Ах, если бы он был с письмами вашими! Нет, худо, худо на чужой стороне, вдали от родных, от родной матери, матери, которой обязан я всем, всем, даже чувством любви к ней! Это чувство невольно... нет, не доскажу.

Авось либо я буду счастлив послезавтра. Авось, но если нет... что я должен подумать. Лечу в Харьков. Сейчас только был у меня Иван Тимофеевич; я ему сказал эту мысль свою, он согласен. Дело кончено. Еще почта — и я у вас.

Прощайте, маменька, не забывайте вашего сына.

И. С.

24

*Варваровка. 20 марта 1833*

Наконец, добрая маменька, наконец я успокоился. Третьего дня я получил ваше письмо № 5 от 28-го февраля. С этою почтою надеюсь получить и еще одно, а может быть и два. Но, ради бога, не оставляйте меня, маменька, без писем ваших. Катерина Романовна говорит, что я был похож на больного во все время ожидания, — и был как сумасшедший, когда дожидался. Я не помню, чтобы когда-нибудь был так восхищен, как получивши это письмо. Но я должен признаться: не получая так долго письма от вас, я думал, был почти уверен, что уже не увижусь с вами никогда, что я уже сирота, жалкий, беззащитный сирота без родных, без покрова, один, как степная былинка.

Относительно статьи о Сковороде, сделайте одолжение прочтите ее внимательно, пораскритикуйте, — и только тогда отдайте Петрову, когда найдете ее достойною печати. Ведь она написана слишком наскоро, не более как в два вечера. — Хоть и не будет известно, кто сочинил ее, но все лучше, если она не хороша, не печатать ее.

Знаете ли что, милая маменька? Мне кажется — Петров не будет издавать Альманаха. Пусть брат проведает об этом, — и если нет, — то лучше моей статьи и не отдавать ему, а то у меня черновой рукописи не осталось, а у него запропадет. Ее можно будет со временем исправить, и она будет похожа на что-нибудь дельное. Это самое меня заставляет не готовить и других статей, которые обещаны Петрову...

25

*Варваровка. 29 мар. 1833*

... Я еще кажется вам неписал, что уже лакомился осетриной. Чудо рыба, если она свежая! Мясо белое, жирное, питательное, хрящи — как желе. Пробовал и икру — не понравилась,

218



как и харьковская, я не нашел даже разницы; та же гадость. Но осетрина — чудо. До сих пор поймано только 3 осетра, из коих один — кашница, т. е. с икрою. Кашница весом  $4\frac{1}{2}$  пуда, в том числе икры неочищенной 1 пуд и 6 фун., а когда очистили — вышло около 30 фун. Два осетра уже съедено (в пять дней), а третий посолен, но и тот уже начат, ибо теперь, по причине холода ловли нет. По Днепру только 6 помещиков имеют осетриную, ловлю... Когда кашницу резали, Кат. Ром. призвала меня, при мне вынимали икру, при мне икру чистили, при мне разрезывали осетра на куски и солили. Я теперь знаю это ремесло; если случится, то и на деле покажу свое знание...

Так вам понравилась моя Скворода, или блин, что я спек на Сквороде! О коллегиямских беспокоиться нечего, ибо моя фамилия не будет подписана; а притом на все есть цензура. Позволит — и дело, не позволит — и то дело. О Вернете и о дамском башмаке тоже думать нечего. Вернет сам это рассказывает при всяком удобном случае, то есть рассказывал, ибо тепер он без присыпу пьет в Водолагах у Дуниных.

Петров говорит, что у него мало стихов. Дельно. Если успею, то перепису ему, что у меня есть, и по следующей почте пришлю к вам, а вы передадите пану Петрову; потрудитесь, добрая моя мама! — Я что-то тепер весел — и сам не знаю чего. Так или потому, что с завтра гуляю — аж-аж-аж до проводного понеделка. Ege!..

Отправивши к вам, милая маменька, прошлое письмо, я поехал гулять по Днепру на дубе, и доезжал до половины, т. е. до острова Голодайки, около версты от берега. Что за удовольствие! Три рыбалки поют свои заунывные песни, весла *шморят* водою, мы летим. Я вспомнил, как мы прошлым летом ездили по Лопани с Иосифом Афанасьевичем и братом. Что, если бы нам поплавать вместе по Днепру; мы бы заехали на Куной остров, взошли бы на скалу и полюбовались бы видом Ненасытянца: этот остров лежит у самого порога, и с него порог кажется настоящею горою. Увидели бы, как вода, облеченная мутной пеной, крутится и переливается по двенадцати лавам или уступам скал Ненасытянских... Чудесно! Но вы верно не поехали бы, маменька, вы бы побоялись великого Днепра. Нет, он ничуть не страшен. Едешь как по маслу, легче, нежели по Лопани. Разумеется, в тихую погоду. — А в бурю — это другое дело.

Как жить, а если жить умеючи, то в здешних местах превесело. Напр., положим, что мы имеем хуторок у самого берега Днепровского; наш маленький, уютенький, веселенький, чистенький



домик стоит на склоне горы, под сенью гранитной скалы, окруженный дубровою, — здесь вблизи несколько хат крестьянских, тут мельница, здесь ток, здесь сад, — а там пахотные поля. Все так уютно, мирно. Брат женат — на доброй жене, — у него детки, подобные милой моей *матине*<sup>22)</sup>; я их учу, — вы с невесткой занимаетесь хозяйством. Брат философствует на полях. Подле нас Иван Николаевич. Он тоже иногда учит своих племянников и племянниц. Тысяч пяток доходу в год, — и все хорошо. Иногда выезжаем в Харьков, иногда в Киев, — и пр. и пр. Мы выписываем журналы, газеты; вечерами читаем; иногда приезжают соседи: те для удовольствия, а те для разнообразия. Я занимаюсь садом... Право, не дурно... Но — мечта, — и очень дурно.

Впрочем, мне жить изрядно и так. Только нет вас, а это хуже всего. На другой год ни за что не соглашусь остаться: лучше меньше получать, да жить подле вас, вместе с вами, — вместе и горе и радость. Надобно только добиться в институт, если останемся в Харькове, ибо брату должно окончить курс, а там поглядим. Может быть, в Москву, или куди иныше.

До того времени мне хочется приготовить себя как следует в том и другом: во-первых относительно познаний, а во-вторых относительно литературной известности. Иван Васильевич<sup>23)</sup> именно пишет, что, дабы получить хорошее место в Питере, необходимо нужна эта известность. Чем кто известнее, тем тот принимается почетнее. Это меня заставляет часть трудов своих уделять и на сочинения и переводы, кои могли бы быть в печати. Очень немудрено, что и в Москве так точно делается.

У нас рыбная ловля, т. е. осетрина, что-то плоха: до сего времени поймано только 11 осетров. Едва ли этим и не кончится. Но вы еще не знаете, как ловятся осетры здесь, и потому я скажу об этом несколько слов... Все орудие называется *переметом*<sup>24)</sup>. Этими переметами застлавливается, как стенами, весь Днепр. Когда осетры начинают путь свой, то по необходимости должны встретить сии преграды на оном, и, испуганные, мгновенно поворачиваются назад, ляскают хвостом в перемете и попадают на крючья. Тогда начинают они ерзать туда и сюда, сомнут весь перемет, т. е. каждый из них по одиночке сведет *куги*<sup>25)</sup> одну к другой. Рыбалки, это приметивши, бросаются к тому месту, втаскивают перемет на дуб, а вместе с переметом и осетра и т. д...

При сем письме прилагается последний отрывок второй статьи для украинского альманаха г. Петрова. Думаю, что мои статьи будут в сем альманахе не из последних, по крайней мере, по



местности. При случае, если вы, милая маменька, увидите с Петровым, скажите ему, что если ему угодно попросить у меня, то я могу дать ему несколько отрывков стихотворных переводов из трагедий Кальдерона. Я переводил для себя, и только ради скуки вместо прозы — стихами. Если он меня попросит, то могу поправить стихи и прислать к нему <sup>26)</sup>.

Мы получили наконец Телескоп и Молву, которую выписали вместо Северной Пчелы. Виктор Гюго — известие для Иосифа Афанасьевича — издал новую трагедию Лукреция Борджия. Не хвалят; хотя страшных сцен много. В Телескопе помещена прекрасная повесть Бальзака, в роде Дженовры — *Две встречи*. Вы помните Дженовру, маменька, бедную Дженовру. — Елена, героиня сей новой повести, не хуже Дженовры. Достаньте Телескоп и верно прочтете со слезами. Только Елене достанется наверно от вас. Как смела, как решилась? И что за великодушие? и пр...

Вчерашний день полон происшествиями, та chère maman; но вы знаете, что значит день степной, исполненный происшествиями. Немного более ничего. Вихрь, приезд заседателя и наконец разносчика, знаменитого в здешнем краю Куприановича. Такой день должен, конечно, почестся эпохою в здешних местах.

Но какой вихрь! Часа в два пополудни показалось на противоположном берегу Днепра сизовато пыльное облако. Пороги приомлакли. Ветер завыл, — и облако понеслось с быстротою молнии поперек Днепра, будто великан Иоптагеймский идет по вздымающимся волнам и давит волны могучей пятой своей, и вот ближе, ближе, и рассыпалось вдребезги, ступивши на наш берег, — взрывает крыши с хат, хлещет снопами соломы, свистит песчаным дождем, и рвется и крутится. Невозможно было выйти на двор, не жалея потерять глаз. Стулья, стоявшие на балконе моем, изволили в это время танцевать мазурку и потом окончили променадом вдоль всего балкона. Я хотел было сначала восхищаться свирепой картиной природы, но, когда увидел пляску стульев, столь чудную, столь сходную с адской пляской духов, то не мог не расхохотаться, — выскочил на балкон, привязал паруса к плясущикам и, вбежавши опять в комнату, долго любовался этим невиданным хороводом.

Приезд заседателя был еще многообразнее. День — день день! И вот показались два передовых казака. Ждем. Кат ерина Романовна сидела в это время у меня на балконе. Появляется бричка с колокольчиком, запряженная тремя кляченками, — и в бричке, жидовского покроя, две жидовских физиономии, со впалыми, непрерывно кружащимися глазами, с усами, с горбатыми носами, в халатах.



Они приехали производить следствие по делу арестанта, которого тому назад недели две Иван Тимофеевич отправил в суд, поймавши в своей деревне. Катерина Романовна приняла заседателя; и он тотчас послал своего писаря производить следствие на деревню, и первое дело—к отцу этого арестанта, который принадлежит Ив. Тим. После обеда Ив. Тим. заметил это заседателю. Тот убежал скорее к своему писарю. Надобно знать, что заседатель обличен уже во взятках: на него поданы жалобы. Перед вечером я с Митей пошел в деревню, где производилось следствие. Застал конец присяги, после которой поп подошел ко мне... Между тем писарь начал расспросы. Я заметил, что это не его дело, а заседателя. Он продолжает. Это меня взбесило; особенно когда начались расспросы о доказательствах. Я опять заметил, что у мужиков по расспросу доказательств не требуют, как следует по законам Николая. При том же расспросы не у места. Они должны предшествовать присяге. Заметил ему, и довольно дерзко, что все их следствие не по закону, что, если они желают, докажу в суде. Видно, что оба они получили уже порядочную хабару от отца арестанта. Они передрогли, пере краснелись и перебледнелись, когда сказал им, что не хотят ли они нового доноса на себя, давая знать, что, по закону Николая, долг каждого гражданина давать правительству знать о бесчинствах, столь обыкновенных при следствиях. Заседатель заметил мне, что при расспросах никто не имеет права вмешиваться. Я отвечаю, что расспросы писаря не суть расспросы, etc. Этим кончилась наша перепалка, которая произвела порядочную тревогу в сердцах грешников. Но что более всего их изумило, то это то, что я сказал им, что они противно законам производят следствие, не давши знать помещику, не получивши от него отзыва. Отзыв был между мною приготовлен и такой отзыв... Но что распространяться вдаль? Окончилось тем, что они передо мной расшаркались при прощаньи, а я *du haute de ma grandeur* кивнул им головою. Катерина Романовна—моя защитница: она говорит, что и сама тоже самое сделала бы на моем месте, Ив. Тим. также. Итак, заседателю нос. Хорошо еще, что этим кончилось: а если бы меня не уговорил Ив. Тим. кончить ничем, то непременно с сею же почтою полетела бы бумажка к губернатору на имя Евецкого. Я бы сделал маленькое благодеяние всему дворянству Павлоградского уезда.

Я уверен, что вы не похвалите меня за горячность. Но я защитил бедных мужиков. Ив. Тим. не имеет в сем случае права защищать их. И деньги, которыми бы они наверно приплатились порядочно за свое незнание законов, остались в их карманах. Во время нашей перепалки мужики стояли за меня и говорили мне, когда я защищал их, как адвокат с боку припеку:—„Да, да, батюшка, правда твоя, чем мы докажем? Мы люди неграмотные“...



Новая боязнь, новое беспокойство, новая мука, добрая моя маменька! Представьте себя на моем месте, и тогда узнаете, что как ни хорошо мне жить здесь, а все худо. О, если бы я мог, но не дай боже мне испытывать это, если бы я мог жить сам собою без всякой привязанности, без всякого чувства в сердце, кроме чувства гнусного себялюбия, без всяких привязанностей, кроме одной презренной привязанности к суеде своих личных выгод,—тогда бы, может быть, я жил бы счастливо в степи Варваровской. Принят, как родной, как сем'янин, имею все нужное, могу удовлетворять даже некоторым прихотям своим, не нуждаюсь ни мало во времени для занятий науками. Чего бы более? Но я был в тысячу крат счастливее, не получивши 3000 руб., живши под одним кровом с вами. И радость и горе—все было для меня тогда делимо, все общее. Не за кого было опасаться, не за кого грустить, не по ком жалеть. А деньги? могут ли они удовлетворить всем потребностям нашим? Лишь бы довольство: избыток портит людей. Не так ли? Если бы я мог остаться здесь и на другой год, то не уверен, так ли же остался бы привязан к вам, не охладел бы я к родственному счастью. Нет, маменька! Выгода остаться несравненно менее выгоды не оставаться. Думаю, что переезд мой в Харьков решителен. Хотя пожар и не совсем большое горе, по крайней мере не несчастие, однако за ним может последовать ваша болезнь. Это уже для меня настоящее горе... Ах, дай бог, чтобы следующее письмо ваше меня разуверило в моей боязни! Жду—не дожусь послезавтрашнего дня. В троицу поговорим, как расположиться, и увидим.—Здесь я окончил свои работы. Для самого себя относительно Запорожья узнал и достал все, что можно было. Катерина Романовна, верно, будет довольна мною, ибо дети прошли столько, сколько и в три года в пансионе не выучили. 1500 руб. останется в кармане у нас. Я выеду из Варваровки с познанием порядочных двух языков: испанского и английского, которыми теперь занимаюсь каждодневно, и понемногу успеваю. Время не потеряно, смело скажу. Теперь и в Харьков. Если бы в Грузию или Москву и с вами, о, это другое дело! Но здесь мне незачем оставаться... Итак, у вас Петров бывает частенько. Верно, простой человек. Кстати, надобно в троицу познакомиться мне с Гр. Фед. Квиткой. Так? Рылся, рылся в бумагах—так нет. Представьте себе, маменька, почти окончил снимок портрета Сковороды, и чрезвычайно удачно, куда то положил вместе с подлинником, недели две тому принялся искать, и все ишу, и бог знает где. Так совестно противу Петрова. Хотелось бы услужить доброму человеку, хоть подлинник прислать,—ну на беду решительно не приберу памяти. Целый вечер сегодня



прорылся, перерыл и книги, и тетради—и нигде нет. Однако буду рыться. Желал бы, чтобы Петров не отсылал Альманаха в цензуру до троицы. Хочется поправить свои статьи хоть в слоге. Писаны слишком наскоро. Для Альманаха, конечно, годятся, но если Петров приложит портрет Сквороды, то ведь статья моя будет на виду,— и потому обратит поневоле на себя внимание. Относительно портрета — можно взять его у Ирины Григорьевны. Она верно не откажет.— К приезду в Харьков отлагаю исполнение обещания дать Петрову стихов. Он верно не поспешит с альманахом, прочетши в Северной Пчеле, Молве и Телескопе критики на Альциону и Комету Белы.

Брату поклон. Иосифу Смирянину<sup>27)</sup> — тоже.

Прощайте, милая маменька!

Боже мой, какие у нас жары — решительно нестерпимые! В продолжение целого дня так и вянешь, — радуешься, когда приближается вечер, надеешься на один вечер. В комнате спать ночью душно. Но если бы вся беда было только в этом; в Таганроге платять за пуд муки 4 рубля, — за пуд сена 2 р 50 к. Как покажется это вам?.. Ив. Тим. получил в Новомосковске рукопись мою из цензуры и распечатал; и распустил слух по Новомосковску, что я печатаю Запорожскую старину. Это обрадовало одного протопопа, который рванулся писать к архиерею, охотнику, до этой старины самому страстному<sup>28)</sup>. Мы с Иваном Тимофеевичем поедем в Екатеринославль и познакомимся с ним. Ив. Тим. доставит мне более 20 подписчиков, Кат. Ром. также несколько. Иваненко обещает около 50-ти. Я думаю, сыщу помощью архиерея в Екатеринославле. Все дело в билетах; вот почему и прошу вас, маменька, попросить Петрова похлопотать о напечатании оных по приложенной здесь форме. Брат потрудится, переписет эту форму на особом полулистике почтовой бумаги, как это письмо. На первый раз достаточно напечатать 100 билетов, а для сего нужно купить десять почтовой бумаги Полторацкого, маленького формата в полулистик. Там 96 полулистиков, следовательно не достаёт 4-х пол. Это хоть и на другой бумаге или прикупить. Дешь 2 руб., печат.—рублей 8. Да похлопочет Иван Матвеевич испросить у полицеймейстера или губернатора позволение на напечатание и в типографии заставить напечатать почище и красивее. На вкус его можно положиться. Это все делается дня в три И потому я вас прошу, маменька, по следующей почте и прислать мне 50 экзмп. билета в посылке. А 50 останется у вас. Имя мое подписать под мою руку и печать приложить на них может брат. Может быть, Петров и здесь что-нибудь сделает,



или Григорий Федорович, к которому прилагаю письмо здесь; Иван Матвеевич постарается доставить ему. По отпечатаии билетов прошу брата отнести рукопись к ректору, а потом в типографию — и печатать. А между тем я буду собирать подписчиков. 20 есть верных, следовательно платеж в типографию верен. Если и потребуют вперед рублей до 100, то, маменька, не откажите дать. Каждый корректурный лист 1-й будет, надеюсь, рассматривать брат, 2-й — Джунковский, Петров, и, если захочет, Квитка, а 3-й прошу вас, добрая маменька, присылать ко мне по почте... Хочется, чтобы правильно было напечатано. Печать 300 экзempl. новым цицеро, т. е. такими буквами, как Цыхова диссертация, в малую 8-у. Петров похлопочет сделать издание красивее. На веленовой печатать 20 экземпляров. Сделай одолжение, брат, сделай тетрадку и веди счет издержкам всем до мелочи — самый аккуратный. Это издание мне, верно, не принесет убытку. Прощайте, милая маменька! Поклон Иосифу Афанасьевичу.

*Изм. Ср.*

Не забудь, брат, что надобно попросить отлить отдельную букву й, а то смотри вместо й, употребят французское û; а другую букву î: такая, кажется, есть. Где у меня ударение, смотри, приказывай ставить и в печати везде. Если хорошо попросишь, то хорошо и сделают.

31

*21 июня 1833 года. Варваровка*

... Ночи у нас очень прохладны, так что я вчера и не решился лечь на дворе, а спал в комнате у растворенного окна; и тут было холодно. А дни, особенно от 11 до 6, ужасно жарки. И между тем ветер почти не перестает, — и какой ветер! Наш степной, крикливый... Дни за три был такой ураган, какого до сих пор не видел: людей, шедших по улицам в деревне, чуть-чуть не валяло с ног. Днепр почти весь вспенился. Не только противного берега, но половины реки не было вовсе видно, а другая половина из-под красноватого дыма урагана едва была заметна...

Вас, маменька, я буду просить, чтобы вы, если будет у вас Петров, попросили бы его похлопотать относительно Запорожской старины. Мне бы хотелось первую книжку отпечатать к приезду Уварова. Петров сделал бы мне великую милость, если бы потруился объявить, сообразно билету, о сем издании в Молве и в Северной пчеле, и написал бы, что желающие выписать могут адресовать с приложением денег на мое имя в Харьков. Самому этого не хочется делать. Может быть также он может что-нибудь



сделать относительно подписчиков в Харькове. Гр. Фед. Кв. буду просить лично по приезде. — Если бог поможет, то это издание может принести мне рублей до 1000. Кажется, что оно будет принято благосклонно. Теперь занимаюсь приготовлением 2-й книжки. На этой неделе кончу — и там займусь перепискою летописи, которую достал в Новомосковске. Напишу к оной примечания, и если успею, то вручу ее Уварову. По вечерам работаю для журнала<sup>29</sup>).

*Покорный сын и брат Из. Ср.*

32

*Варваровка, 29 июня*

... Вчера я докончил перепись второй книжки Запорожской старины, пересмотрю, поправлю, что следует прибавлю, и по след. почте отправлю в цензуру. Эта книжка будет, кажется, довольно любопытна для многих. Все три книжки будут стоить мне, по большей мере, 600 рублей: за напечатание, пересылку и пр. Билеты, кои останутся у вас, означте от № 51 до 100. Может быть, брат продаст несколько билетов студентам, — Иосиф Афанасьевич раздаст билета 3, а если постарается, то, может быть, и более. Петров — также. Приехавши в Харьков, буду стараться сам у Робуша, Рейпольского, Борзенка. Если разойдутся все 100 б., то я в барышах 400 руб. ас., а потом по подписке и еще можно набрать. Я отправлю 5 билет. к Росковшенке, 5 к Венелину, 5 к Шпигоцкому. Лишь бы положить хорошее начало, а то пойдет дело на лад. Авось либо бог поможет! Лишь бы вы, маменька, были здоровы, а то все пойдет на лад. Еще месяц, и я к вам в Харьков...

*Изм. Ср.*

33

*Варваровка, 29 июня*

... Вчера был такой жаркий день, что я не знал, куда деться — я думаю, что градусов до 25 доходило, если не более. Ночи, напротив, здесь холодны. Может быть вы не посоветовали бы мне спать на балконе, но в комнате, право, невозможно: духота нестерпимая. Я сплю на своем балконе; подо мной спят Катерина Романовна и Иван Тимофеевич. С вечера мы обыкновенно розговариваем то про звезды — и я изясняю Ляпласа, какво? — то про Огненную землю, Америку и пр. до бесконечности. Наконец мне наскучает болтать, я смолкаю, начинаю дремать, — и сквозь дремоту слышу: „Послушайте, Измаил Ив. — вишь, уж спит! — И я засыпаю так сладко, так приятно, что и вставать бы не хотелось.

226



Сегодня просыпаюсь : день серый, тучи ходят по небу, солнце — будто пузырь, наполненный газом, и ветрик (это слово у нас сделалось техническим). К полудню дождь, проливной — и шумит и гуде. Продолжался часов 5. Громовой удар был так силен, что у меня в ухе зазвенело и голова покачнулась на бок... Мы в это время сидели за столом. К вечеру все стихло, погода прояснилась, и я с детьми ходил купаться... По берегам Днепра превращение : там появились овраги, там нанесло кучи камней, здесь отдели... Река — как стекло, и солнце переложило пурпуро - огневую дорогу поперек Днепра. Вы не видали, маменька, этой картины, — вы бы залюбовались ?

Днепр ужасно упал, по крайней мере аршина на 2, и весь усеялся камнями, высунувшимися из - под воды. Это тоже картина оригинальная...

*Июля 5. Варваровка*

... Месяца два или три. Ив. Тим. нанял жида - лекаря для своей деревни. Вчера приехал он из Чаплей, села гр. Воронцова, и между прочими новостями привез следующие.

1. Есть в Екатеринославле жидовка Мовка, столешница богатая, злая жидовка. Был базар. 9 часов утра. Мовка захворала, Мовка не пошла на базар со своими кошельками. По базару долго ходил какой-то лакей какого-то помещика, расспрашивал про Мовку, говоря, что барин послал его разменять деньги ; и Мовки не сыскал, и пошел к Мовке в дом. — Я тепериця хора и не пиду, — отвечала жидовка. — Завтричка по ютру выбизу на базарь и винису деньги. Скилько ? 500 руб. треба твоему барину ? Добре, вынису. — Лакей ушел, и на следующее утро вышел на базар — явилась и Мовка, и с Мовкой они пошли к барину... К полудню Мовку нашли подле пристани в грязи с перерезанным горлом. Каково ? Смертоубийство днем.

2. Жила была в Полтавской губернии, где - то в хуторе, ведьма Тройчиха. Страшная ведьма. Все окрестные жители боялись ее более, нежели гнева небесного. Наконец, она умирает — месяца четыре тому назад. Много народу собралось на ее похороны, — и вот было ее завешание: нынешнее лето не будет дождей. Я подрезала по несколько перьев у всех петухов Белого царства. — И умерла страшная Тройчиха. Сыскалась другая ведьма Горчиха, вероятно из добрых: она посоветовала народу вырывать у петухов обрезанные перья и спокойно ожидать дождя. — Глаголют, предсказания обеих ведьм исполняются : у всех петухов подрезаны в крыльях перья — и нет дождя. Помещики раздают приказы вырывать эти перья — и начинаются ливные дожди. Тоже и в Варваровке, вероятно будет!..



К сей двойце еще одна. Около острова Токмаковки, на Днепре, есть казенное село Токмаковка. Недавно, с месяц, там жило одно бедное семейство, в бедной хате, — и в одну ночь все перемерло. Народ испугался, подумал, что чума, и дал знать суду. Суд явился и заложил хату. Прошло несколько времени, — начали замечать, что по ночам в той хате светится огонь. Странно! И между тем каждую ночь и всю ночь тоже и одно! Народ собрался в громаду и начал рассуждать. Наконец явился нищий, коему сделали предложение провести ночь в той хате. За кусок хлеба нищий согласился и пошел в хату, и лег под лавку, и самым спокойным сном сытого человека заснул под лавкой. Ночью крикнул, лупнул глазами, глядь — на столе свеча, за столом три старика с длинными седыми бородами, со страшными взглядами, облокотившись разговаривают так между собою: Один говорит: — Грешат, нечестивцы! Пора кару послать! — Другой говорит: — Грешат, нечестивцы! И халяндра не усмирила. Надобно мор, чуму! — Третий говорит: — Грешат нечестивцы! Надобно голод, язву. Пусть пропадет весь их скот и отары, пусть согниет и сгорит все их имущество! И потом гибель и смерть, ужасная голодная смерть.

— А ты чего здесь? — обратились они к нищему, лежавшему под лавкой. — Ты слушал? Хорошо. Ты выслушал, иди и поведай нечестивцам, да смирятся, иначе — кара небес, гибель.

— Но мне не поверят, панове. Меня посадят в тюрьму, все тело мое избороздят кнутом, и без голода изморят голодом, и без мора предадут поносной смерти.

— Тебе не поверят! Пусть так! Надобно сжалиться над нечестивцами. Сложи накрест руки! Вот знак наш — тебе поверят.

Нищий скрестил свои костлявые руки — и руки приросли к плечам, и он вышел, сам не зная как, из хижины, и ходит, и поучает. К хате никто не смеет прикоснуться...

... Вот и еще одно сказание под стать к прежним: Три бабы, три старых, дряхлых бабы, шли из Воронежа, где поклонялись св. Митрофану, и завернули в Киев. Св. Митрофан не сподобил их причаститься св. таин в храме своем, и потому они отправились на поклонение старым угодникам. И вот они уже перешли через Днепр и вот приготовляются итти на гору Киевскую, как вдруг у одной из поклонниц подкосились ноги, и она по колена загрузла в землю. „Час смерти моей приближается. Идите, бабушки, к отцу Иллариону и скажите ему, чтоб меня пришел исповедать. Я кающаяся грешница“. — Отец Илларион поспешно взял св. крест и отправился под гору, прочел молитву над умирающей



и начал исповедывать. „Каюсь“, говорила старуха, „три греха, три тяжких греха лежат на сердце моем. Помолись обо мне св. угодникам Христовым. Я убила своего свекра, заморила голодом свекровь, отравила ядом мужа. Господи помилуй!“— И, сказавши это, погрузилась в землю по грудь. „Ох, отец Илларион! Есть на душе моей и еще один грех.— Говори какой.— Есть еще грех.— Что же кайся:— Есть еще грех, но я не признаюсь в нем ни самому Спасителю“. Страшно захохотала, ее обхватили корчи— и она вся исчезла под землей...

Не знаю, последнее ли или предпоследнее письмо пишу к вам, милая маменька, но кажется через две недели и много— через три буду у вас. Дай бог скорее. С нетерпением жду счастливой минуты, когда вас увижу. Право, мне уж наскучило жить в степи, и очень рад, что не останусь на следующий год, который, как можно заключить по неурожаям, будет здесь ужасен. Месяц пройдет, и у мужиков уже ничего не останется хлеба: весь будет с'еден; одна надежда останется на гречу и просо. Пока они обещают изрядный урожай.— но бог весть.

Говорят, что где-то около Киева или где-нибудь в другом месте явился какой-то пророк, который предсказывает голод и мор. Конечно, это побасенка; но без несчастий не обойдется, особливо здесь, в Новороссии, где народ так ленив, беспечен.

Сегодня приезжал чиновник из суда с запросом, может ли Ив. Тим. прокормить своих крестьян,— и с приглашением пожаловать на сейм уездный, на котором будут советоваться, какие предпринять меры для предупреждения готовящегося бедствия. Наши благочестивые помещики умеют пользоваться случаем: Синельников продает своим мужикам хлеб по 25 руб. за четверть; такая милосердная цена. Бразель — по 700 руб. стог сена, а иногда и по 1000.

Ожидая скорого приезда в Харьков, я что-то плохо работаю. Только что читаю. Займусь уж в Харькове.

Если брат рукописи не относил к ректору, то и не нужно. Я сам, приехав, отнесу. Думаю бывать у Кроненберга почаще на всякий случай. Впрочем через год, если бог даст, в Питер. Пора служить,— и, кажется, по статской службе. Лишь бы получить местечко с хорошим жалованием; с меня и довольно. Я чинов не ищу,— ибо не смогу с ними управиться. А получивши местечко, я дойду, до чего хочется дойти; верю, что все к лучшему; верю, что и мое от меня не ускользнет. Без сомнения, не без трудов,— и не скоро.— да все, бог даст, дойду— и еще прежде доеду до Харькова, с мечтой о чем ложусь сию минуту



в постель, желая и вам покойной ночи и приятного сна. Недавно я во сне был в Париже; как там гадко!

Adieu, маменька!

*Из. Срезневский*

37

*30 июня 1839. Второго 35 минут. Солуницовка*

Вам, милая маменька, конечно памятно это имя: не раз случилось покупать вам ягоды у дивчат из Солуницовки. Вней - то мы остановились теперь, отъехавши уже 12 верст от Харькова. Что заставило, спросите вы? Погода, маменька, т. е. непогода. Дорога идет все песками, ехали шагом, а между тем сначала ревел ветер, потом свиснул и дождь; извозчик же наш, Петро, что - то в роде Байрона; все это вместе могло наконец заставить нас обрадоваться возможности остановиться хоть немного отдохнуть. И вот мы отдыхаем в домике доброго и ласкового Кирилла Михайловича Шевченка, который пообещал мне передать вам эту записку. Он едет в Харьков. Примите его, маменька, ласково, поблагодарите за гостеприимство... Мне очень радостно, что могу уведомить о себе через несколько часов после отъезда из Харькова, тем более, что этот отъезд был так поспешен, что я и до сих пор не могу опомниться, не могу вполне верить, во сне или наяву пишу я эту записку.

38

*Суббота 1 июля. Ахтырка*

...Опять здравствуйте, маменька, и простите, что только теперь, в 11-м часу утра, принимаюсь за перо. Вы согласитесь, что прежде нельзя было, когда прочтете, как прошло наше время после выезда из Богодухова. Вот как прошло оно.

В половине 4 - го часа, вчера, мы приехали в Купееваху, только успели отдать прогоны, как и опять на телегу. В половине 6 - го мы были уже в Ахтырке. В два часа мы промчались 28 верст: нельзя было не устать. К счастью в Ахтырке нас ждали и сделали все, чтобы дать нам покой. Впрочем, мы могли им воспользоваться уже довольно поздно. Сначала напились чаю, оделись и пошли гулять по городу; потом, воротившись домой, отправились к старику Чудновскому, о. Иоанну, знакомиться, говорили, ужинали. О. Иоанн и его дочь девица приняли нас так же, как и сын, радушно, ласково. В одиннадцать легли на мягкие постели и заснули богатырским сном. В 8 встали, пошли приложиться к иконе божией матери, воротились пить чай, — и за всем этим прошло два часа. Теперь я остался один и принялся писать.

230



Что же вам сказать об Ахтырке? — Миленский город, украшенный во всю свою длину (семи верст) двенадцатью церквами, весь в садах. Есть хорошенькие домики, есть прекрасная площадь, довольно порядочный гостинный двор и т. д. Всего прекраснее собор Покрова, в котором и икона. Собор в самом деле прекрасный, величественный: такого храма в Харькове нет. Снаружи нельзя не любоваться его куполом с главою в 14 аршин вышины, спереди и сзади которого два фонаря с такими же главами (так что весь он похож на трехмачтовый корабль). Нельзя не любоваться его колокольнею легкой, изящной архитектуры. В одном дворе с собором и колокольней и Чернышевская церковь, маленькая, но прекрасного фасада. Самый двор прекрасен, очень велик, порос травою и деревьями и обнесен огромною решеткой.

Все это вновь выбелено, выкрашено. Внутри собор также великолепен, и есть роскошные вещи. Иконостас белый с серебром и золотом. Престол в главном алтаре литой, серебряный, огромный. Видели и евангелие в богатой серебряной оправе, длиной в аршин, и столь тяжелое, что любому силачу трудно поднять его, а я могу только приподнять со стороны. Образ божией матери ахтырской невелик (длиною вершков 7, шириною около 6), но чего на нем нет! Между сотнями бриллиантов, есть и такой, который сам по себе стоит 10.000 рублей. Я надеюсь все это видеть опять и подробно описать вам. Вид с колокольни изумителен по прелести...

... Уже двенадцать часов ночи. Еще день прошел в Ахтырке,—и этот день прошел так, как редко-редко проходит он у меня в Харькове. Досталось и есть, и пить через меру. Впрочем, надобно вам рассказать прежде, как провел я и вчерашнее послеобед, а потом уже перейти к нынешнему дню. Вчерашнее послеобед прошло то в ожидании, то в слушании всенощной. В 5-м часу приехал преосвященный Мелетий; в 8 часов началось служение и продолжалось до половины одиннадцатого. Собор великолепно был освещен, и весь полон народом, полон был даже двор церковный, даже и за оградой толпами был рассеян народ.

Вечером была иллюминация и вокруг собора. Стечение народа удивительное для меня и для Ахтырки, и между тем до поздней ночи с'езжались и сходились кучи отовсюду. Квартиру было так трудно достать, что в лучших местах города платили в сутки по 25 и даже до 100 рублей. Сегодня церемония началась разом в двух церквах: в Покровском соборе архиерей облачился и вышел навстречу крестного хода, между тем как архимандрит



повел этот крестный ход из Успенской церкви. На площади неподалеку от собора процессии соединились, и под зеленою срубленных деревьев происходило водоосвящение. Потом началась обедня. Теснота и давка в соборе была страшная. Не только прочему духовенству, но даже и архиерею трудно было найти место для прохода. Шляпок, чепчиков разного покроя и цвета и старинных и модных была целая бесконечность. Простого народа и вовсе не пускали в церковь. Из знати надобно вспомнить губернатора и предводителя. Из знакомых харьковских я видел Громова, Филомафидскую, Рсмашевых, Абазину и т. д. Обедня началась в 11-ть и кончилась в три часа — молебном и крестным ходом вокруг церкви. Еще прежде обедни получил билет на обед, который ахтырское дворянство вздумало дать по этому случаю, и ездил благодарить предводителя ахтырского. В обедню я получил приглашение на закуску после обедни, даваемую от собрания ахтырского духовенства и там познакомился с некоторыми из дворян, а также и архиереем. В 6 часов начался обед и продолжался до 8-ми. Угощение было превосходное. Шампанское лилось... и сынок ваш воротился с обеда чуть не пьяный. Кстати скажу, что дворяне ждут от меня описания этого праздника и обходились со мною очень хорошо. Завтра надобно съездить к некоторым... Теперь сон клонит. Из Ахтырки между тем уже раз'езжаются и верно, завтра она опустеет.

Прощайте маменька! Целую ручку вашу.

*И. Срезневский*

40

*7 июля 1839. Ахтырка*

Ахтырка? Измайлуша все еще в Ахтырке? спрашиваете вы, милая маменька, самих себя и удивляетесь. Да маменька, я все еще в Ахтырке. Сегодня уже неделя минует, как я приехал в Ахтырку, и до сих пор еще не все кончил, что нужно было сделать. И вы согласитесь маменька, это время не было мною потеряно, если узнаете, как я провел его. В пятницу под вечер приехал в Ахтырку и познакомился с внешностью Ахтырки, в субботу был в соборе утром, и был там же на всенощной архиерейской вечером; в воскресенье весь день прошел за обедней, завтраком в доме архиерейском, обедом; в понедельник архиерей обедал у моего гостеприимного хозяина, а поздним вечером я был на дворянском балу, во вторник после обеда тотчас поехал в Каплуновку поклониться тамошней чудотворной иконе божией матери и возвратился уже на другой день к обеду, вечером в тот же день ездил в близ лежащий монастырь и воротился к ночи; в четверг занимался списыванием нужных бумаг; сегодня утром



ездил в храм Успения и взял подорожную для дальнейшего пути. Сведений собрано много. Даже и бандурист был уже у нас, и мы успели воспользоваться его памятью, сколько могли. Что же касается до чудотворных икон ахтырской и каплуновской, то я имею о них такие сведения, какие едва ли кому удастся собрать. И всем этим я обязан гостеприимному, доброму, умному, ласковому, незабвенному хозяину нашему о. Иоанну Чудновскому. Он принял нас, как родных, обходится, как с родными. Мало того, что у нас особый флигель и у меня особенная комнатка — даже в доме мы полные хозяева и целый день проводим тут. Я пишу это письмо в кабинете о. Иоанна, между тем как Степан Семенович<sup>30)</sup> срисовывает фасад собора в гостинной зале, где дочь о. Иоанна, милая молоденькая девушка, разыгрывает увертюру из Фра-Диаволо, а старик в смежной комнате, своей спальне, тоже что-то пишет. Мой портфель близ меня, а с ним и весь мой письменный прибор. Что касается до сведений, собираемых мной об Ахтырке и ее окрестностях, то без о. Иоанна я не мог бы и половины их иметь. Завтра полагаю все кончить, и послезавтра ехать из Ахтырки. Путь наш в Лубны через Гадяч и Ромен. Надеюсь, маменька, что вы напишете в Лубны ко мне хоть маленькое письмецо: оно будет единственное, какое только я могу получить от вас по почте. Из Лубен я поверну на Полтаву и домой. Более не успеем сделать...

8 июля 1839. Ахтырка

Опять здравствуйте, милая маменька, и опять все-таки из Ахтырки! Но, наконец, завтра, кажется, уже непременно в путь — в Зеньков, Гадяч, Ромен, Лохвицу и Лубны; в Лубнах возьмем опять подорожную, и в Харьков через Хорол и Полтаву. Хотелось бы окончить весь этот путь в 12 дней, но не знаю. На всякий случай просил Ивана Львовича Дзюбина, который взялся доставить вам это письмо, выхлопотать мне отпуск еще дней на пять. Попросите и вы его от себя. Дзюбин родом из Ахтырки. Давно собирался я быть у них в доме; сегодня, наконец, встретился с ними на ярмарке (теперь в Ахтырке ярмарка — нечто в роде нашего базара), и оттуда пошел к ним. Мать их прекрасная женщина. Весь вечер я провел у них, до ужина. Воротившись, говорил до сих пор с о. Иоанном.

Ах, маменька! Как прекрасно жить в Ахтырке! Превосходный собор для молитвы, прекрасный климат! Тысячи за три можно купить домик довольно хорошенький с большим местом. Припасы все дешевы. Знакомства, правда, нельзя иметь со многими — не стоит, но семейства два можно найти. И как все тихо, город и



деревня! Непременно надобно нам поехать в Ахтырку вместе с вами. О. Иоанн все еще жалеет, зачем я не привез вас — и я уверен, что вы были бы приняты истинно родственно. Сегодня за столом мы пили ваше здоровье. Завтра все собираются провожать нас до монастыря, версты за три, и там пить чай. Какое прекрасное место этот, так называемый, монастырь! Большая гора, с трех сторон Ворскла в лесах, и за нею горы, покрытые лесами, а с четвертой стороны растягивается огромная равнина; на самой горе церковь со старинною колокольнею, и все эти горы поросли деревьями. Виды во все стороны растягиваются далеко и восхитительно хороши. Нас приняли родственно, хотят родственно и проводить...

*11 июля 1839. Село Сары близ Гадяча*

Впрочем, Амвросий Лукьянович<sup>31)</sup>, как податель этого письма, об'яснит лучше всякой подписи, что мы с ним видались, и видались у него же в доме. Я перескажу только, как это случилось, или лучше перескажу, как прошли все вчерашние сутки: то были прекрасные сутки.

Я уже, кажется, писал вам, маменька, что мы намерены были выехать из Ахтырки 9-го, в воскресенье, после обеда и что нас собираются провожать. Так и было; хотя сам о. Иоанн нечаянно заболел и остался дома, но это не помешало другим членам доброго семейства его исполнить свое обещание... Дорогу прохотали, встретили по дороге бандуриста и велели ему итти в монастырь, а между тем монастырский священник, о. Григорий, поехал вперед с частию багажа, не поместившегося в коляске, и с тем, чтобы приготовить для нас приемную под колокольней. Когда мы приехали, самовар почти уже поспел, и мы расположились в первом этаже старинной колокольни и около нее так: девицы стали готовить чай и все, что к чаю, Федор Иванович сел на земле, опершись о стену колокольни и стал на моем портфейле снимать вид церкви; я пошел в церковь посмотреть еще раз на портрет отца Товии Надаржанского, бывшего духовника Петра I, а Степан Семенович уселся в колокольне за столом писать, что будет ему говорить бандурист, занявший место подле стола на земле по-татарски. Это положение изменилось уже после чаю, когда пошли гулять и любоваться видами. Виды чудесные с горы, на которой лежит монастырь: на восток из-за рощ виднеется Ворскла, пестреющая островами, за нею пески, за ними Ахтырка; на юг та же Ворскла скрывается по равнине, оканчивающейся отдаленными горами; а запад и север — горы; покрытые лесами и садами, и между ними опять Ворскла, то скроется за зелень, то выглянет прозрачною полоской. После гулянья мы воротились к колокольне, пили тосты за здоровье живых и



за покой умерших; сошедши с горы к дороге, где ждали экипажи, опять пили; потом простились со слезами,—и наши гостеприимные хозяева повернули налево, а мы направо. То было в 9 часов вечера. В 2 часа ночи мы были уже в городе Зинькове, за 46 верст. Тут мы провели ночь. Утром я ходил на базар, нашел бандуриста, зазвал, списал несколько песен и дум. Напившись кофе, мы отправились в Гадяч. Он в 36 верстах от Зинькова; в семи верстах от него село Сары, где живут родители Амвросия Лукияновича. Кое-как уговорил ямщика повернуть прямо на Сары, предположив уже из Сар ехать в Гадяч. В 12 часов мы вехали на двор к Амвросию Лукияновичу. Спрашиваем о нем; получаем ответ—в Гадяче. Спрашиваю о маменьке его; говорят—дома. Я решаю остановиться и ждать Амвросия Лукияновича. Добрая София Назарьевна приняла нас ласково, как давно знакомых... В 5 часов воротился и Амвросий Лукиянович; мы гуляли, болтали—ели, пили. Теперь собираемся в дорогу: Амвросий Лукиянович едет в Харьков,—мы в Гадяч и оттуда в Ромен и пр. У монастыря Гадяцкого мы простимся. Прощайте и вы, маменька! Будьте здоровы, спокойны. Прощайте. Уж скоро, скоро ворочусь к вам...

## ЛИСТ СРЕЗНЕВСЬКОГО ДО ПРОФ. І. М. СНЕГІРЬОВА

*Харьков, 1834 г., августа 7*

*Pausa paucis.*

В настоящее время, кажется, уже не для кого, и не для чего доказывать, что язык украинский (или как угодно назвать другим: малороссийский), есть язык, а не наречие русского или польского, как доказывали некоторые; и многие уверены, что этот язык есть один из богатейших языков славянских; что он едва ли уступит, напр., богемскому в обилии слов и выражений, польскому в живописности, сербскому—в приятности; что этот язык, который, будучи еще не обработан, может уже сравниться с языками образованными, по гибкости и богатству синтаксического—язык поэтический, музыкальный, живописный.

Но может ли, должен ли он в настоящих обстоятельствах продолжать свое развитие, и сделаться языком литературы, а потом и общества, как было отчасти прежде, или же его удел остаться навсегда языком простого народа, беспрерывно искажаться, мало-по-малу вянуть,глохнуть среди терний других языков, и, наконец, исчезнуть с лица земли, не оставивши по себе ни следа, ни воспоминания?

Нет! Какая бы участь ни ожидала его, чтобы ни делало с ним легкомыслие и случай, он не исчезнет, и если б даже он не



имел надежды на славу литературную, сказал я; — но он имеет и сию надежду, хотя и слабую, хотя еще и в зародыше, но имеет. И почему же глубокомысленный Сковорода, простодушный Котляревский, богатый фантазиею Артемовский, всегда игривый, всегда увлекательный Основьяненко и еще несколько других, польстивших обещаниями и надеждой выждать от них что-нибудь достойное Украины, — почему должны они остаться одни в доселе дикой пустыне Украинской Литературы. Язык Хмельницкого, Пушкаря, Дорошенко, Палия, Кочубея, Апостола должен, по крайней мере, передать потомству славу сих великих людей Украины. Под щитом и покровом мудрого правительства, под призором монархов, покровителей отечественного просвещения, он может иметь эту надежду. Представляю себе ту счастливую годину, когда Россия, сильная душой, сильная волей, сильная умом, будет сильна в мире и словом; незаменная отчизна своих граждан станет отчизной всех других народов, всех наук, всех художеств, всех литератур.

Будем радоваться надеждой — и не предадим забвению того, чем уже можем гордиться; не оставив в пренебрежении тех драгоценностей, какими уже владеем, или можем овладеть, если не будем равнодушны и доверчивы к памяти народной.

Но чем мы можем гордиться? Какими драгоценностями владеем? — Эти вопросы остаются доселе не разрешенными, даже нетронутыми. Впрочем, да не подумает читатель, что я осмелился приняться за этот труд. — Нет, это еще рано. Мое намерение указать только на важнейшее, сделать не больше, как общий очерк памятников народной словесности украинской и очень рад, если упущу из виду не все, что заслуживает особенное внимание любителей...

*Измаил Срезневский*

## ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ „ЗАПОРОЖСКОЙ СТАРИНЫ“

Издавая в свет мое собрание Запорожских песен и дум, я имею в виду оказать услугу, хотя и маловажную, не одним любителям народной поэзии, но преимущественно любопытствующим знать старину Запорожскую, — быт, нравы, обычаи, подвиги этого народа воинов, который своею храбростию и смелостию, своим влиянием на весь юго-восток Европы и даже Малую Азию, особенно в XVII столетии, своим странным составом и образом жизни, и характером, будучи отличен от всего, его окружавшего, заслужил место в памяти потомства. Летописи украинские повествуют только о подвигах сего народа, касаясь очень редко до внутренней жизни его, и самые даже подвиги описывают



иногда кратко, иногда неверно, сбивчиво, часто противореча одна другой. Еще менее заслуживают внимания летописи польские; еще менее — летописи молдавские, наконец русские летописи почти ничего не говорят о запорожцах. Эта бедность истории запорожцев в источниках письменных заставляет наблюдателя искать других источников, — и он находит для своих исследований богатый, неисчерпаемый рудник в преданиях народных.

Сии предания сохраняются в памяти бандуристов, потомков тех бандуристов, кои, подобно скальдам Скандинавии, сопровождали храбрых вольников — запорожцев во все их походы, подобно скальдам возбуждали их к битве своими песнями, подобно скальдам сохраняли для потомства в песнях и думах своих подвиги храбрых.

Дела давно минувших дней,  
Преданья старины глубокой.

И доселе на Украине есть как бы особенный цех стариков, кои то под названием и ремеслом нищих, то под названием и ремеслом музыкантов бродят из села в село и тешат народ своей игрою на бандуре, своими печальными напевами песен и дум старинных, своими рассказами про былое.

В памяти сих стариков живет старина запорожская, и в сем отношении старики сии важнее всяких летописей. Хотя предания о старине, ими рассказываемые, и подлежат строгой критике, но тем не менее почти необходимы для всякого, кто желает знать историю запорожцев и даже остальной Украины. Что касается до событий, до внешней истории народа, как называют немцы, то в сих преданиях могут быть ошибки в мелочах, — в именах собственных, в последовательности происшествий. Этого рода предания можно поверить летописями, еще лучше сверить их между собою; ибо ни ложь ни ошибка не может быть общею, один бандурист скажет так, другой иначе; критика поможет отличить истину от вымысла. Другой род преданий бандуристов — о быте, нравах, обычаях запорожцев, т. е. о всем, что касается до внутренней истории. Эти предания решительно драгоценны, ибо единственны в своем роде и по содержанию, и по обширности. Главная отрасль преданий бандуристов того и другого рода суть песни и думы.

И кто может слушать без соучастия эти песни и думы, в которых старина запорожская отразилась такими верными, живописными очерками, — старина, исполненная жизни, хотя и грубой, но величественной, поэтической. В песнях и думах запорожских вы не найдете ни чопорного сладкогласия, ни нежности чувств, ни роскоши выражений. Нет! в них все дико, подобно дубровам и степям, воспринявшим их на лоно свое при рождении, все порывисто, подобно полету урагана степного, под глухие завывания



которого они взлелеяны,— все бурно, подобно минувшей жизни Запорожья. Нежное чувство нередко пробивается сквозь грубую оболочку оных, но как кипучая волна Ненасытенейской пучины Пекла среди холода зимнего сквозь прозрачную кору льда, ее покрывающую,— пробивается и застывает на оной. То песни юноши, коего сердце, почерствевши для умильного чувства любви, суровое, непреклонное, радуется одною радостью победы и добычи,— питается одним желанием битв,— юноши, который неравнодушно взирая на погибель своих сподвижников, с отчаянием отмщевая за смерть их врагам, равнодушно ждет собственной своей участи, равнодушно, с надеждою жить в памяти потомства; эти песни дышат отвагой, самонадеянностью. То думы старца: убеленная дедом голова его покоится на изголовьи могилы, готовый принять его в свои недра; его надежды исчезли будто дым сновидений; но его душе осталась еще одна услада,— то воспоминания минувшего, то звуки бандуры, их возбуждающие; и взоры его, прежде пылавшие буйным пламенем воинственности, теперь померкшие, испепелившиеся, блистают слезой печали о минувшем; и голос его, уже увядший, тихий, едва внятный, оживляется, мужает, повторяя в унылых напевах предания своего времени, своего поколения: в думах нет той непринужденности, той свободы чувства, которая горит в песнях; в них сменила ее старческая вялость, нестройность чувства, хотя и глубокого, и самобытного. В песнях выразилась лирика и драматика народной поэзии запорожцев; в думах — мрачный, холодный эпизм.

Таков общий характер дум и песен запорожских, кои, будучи любопытны для всякого литератора-беллетристика, важны для историка и этнографа. Подчиненные музыке, будучи вытверживаемы слово в слово, или почти так, оне подлежали меньшему влиянию времени, правильнее сохранили свое содержание и, кроме своего содержания, любопытны как произведения народные,носящие на себе отпечаток вкуса, мнений, наклонностей народа: они суть памятники не только о старине, но и старины. Рассматривая песни и думы запорожские со стороны их народности, находим, что многие из них очень древни, что доказывает и образ повествования, и язык: относительно образа повествования должно заметить, что во многих думах говорится о повествуемых событиях как о недавнопрошедших, или даже настоящих; язык многих из них, как заметил уже и К. Цертелев, устарел и для самих украинцев, между тем как язык народа необразованного, т. е. не имеющего своей письменной литературы, изменяется чрезвычайно слабо и медленно.

Песни и думы запорожские по предмету можно разделить вообще на два рода: первый род заключает в себе песни и думы собственно исторические, т. е. имеющие предметом повествование о событиях и лицах исторических; второй род можно



назвать этнографическим, он заключает в себе песни походные, разгульные, сатирические, — думы нравоучительные, религиозные, и пр. Первый род важен преимущественно для внешней истории запорожцев, второй для истории внутренней. Сие разделение употребил я и в настоящем издании. Сие первое собрание заключает в себе песни и думы об исторических лицах и событиях до Богдана Хмельницкого.

Остается мне сказать о средствах, коими я пользовался для сего издания. До сего времени песен и дум запорожских издано было очень мало: К. Цертелев издал семь дум и одну песню, Максимович — около двадцати песен; всего не более 40 пьес, между коими только пятая часть исторических. Эта малоизвестность памятников поэзии запорожской и вместе с тем уверенность в пользе оных для истории запорожцев — побудили меня заняться собиранием оных, и наконец я при помощи многих особ, почтивших занятия мои своим содействием, после семилетнего труда, успел собрать довольно значительное количество как дум и песней, так и другого рода преданий. Не все собрано самим мною; большая часть доставлена другими. Я старался с своей стороны проверить сам лично все доставленное, исправить ошибки, находившиеся в различных списках, сверить списки, выбрать из них лучшее, — наконец сделать собрание свое сколько возможно полнейшим и правильнейшим. Не думаю, чтобы в сей первой тетради были все песни и думы, относящиеся к историческим событиям и лицам до Богдана Хмельницкого: может быть здесь нет и половины, и того более; по крайней мере я сделал все что мог; впрочем, предоставляя другим сделать лучше, я не отказываюсь от продолжения сего труда, и все, что вновь соберу, буду издавать в дополнениях. В сей тетради помещены подлинники песен и дум, и варианты. Не прилагаю словаря, надеясь современем издать полный словарь украинско-запорожского наречия.

Наконец, я употребил для песней и дум запорожских свое правописание, и потому нахожу нужным представить главные основания оногo.

До сего времени появилось очень много мнений и правил относительно правописания для языка украинского; но большая часть сподвижников на сем поприще отличалась или любовью к чумацкой грубости выговора, или чопорностию и многообразием своих правил. Более других любопытны мнения Максимовича, изложенные в предисловии к его собранию малороссийских песен. Видно, Максимович верно подслушал местные выговоры; но его правописание, будучи совершенно противно общему мнению и употреблению, заведенному издавна, и притом неполно выражено в правилах, не может быть употребляемо везде и всегда. Надобно было сохранить правильность выговора, не отдаваясь от общественного употребления, — и между тем, для пользы самого же



языка, не оставить без внимания этимологию. Я нарочно пересматривал все летописи, бумаги, письма, — словом все, что попало мне под руки писанного на украинском языке; прислушивался к различным мнениям; и наконец, сообразивши все, вывел для себя свои правила правописания украинского. Я почитаю их самыми лучшими; но, будучи подвержен возможности ошибаться, отдаюсь на суд и толки знатоков. Может быть в моих правилах найдутся ошибки, недомолвки, перемолвки и т. п. Может быть — а чего не может быть? — Может быть вся связь моих правил есть одна огромная ошибка. Впрочем я вовсе не думаю о самолюбивом защищении себя и своего; мне даже гораздо приятнее будет встретить противников с доказательствами неосновательности и неправильности моих мнений, нежели защитников с похвалами: только от первых могу ожидать истинного суждения. Итак:

1. Согласные буквы я пишу всегда следуя выговору народному, исключая букв *Ф* и *хв*: украинцы выговаривают *ф* как *хв*, а *хв* как *ф*.

2. Полугласные буквы также пишутся по выговору, исключая один случай, когда должно показать корень, напр. в слове *військо* (войско) *й* не выговаривается, но его должно писать, ибо не видно будет происхождения слова; *ь* в сем слове хотя и не нужен по происхождению, но его требует выговор.

3. Гласные буквы. Между ними различать должно твердые от мягких :

Твердые : *а, е, и, ы, о, у.*

Мягкие : *я, е, і, и, и, е, ю.*

Твердые : *а, о, у* — выговариваются и употребляются как и в русском языке; *е*, употребляясь также как в русском языке, выговаривается твердо, как русское *э* или французское *é*; *и, ы* — употребляются там же, где и по-русски, но выговариваются иначе, обе как польское или богемское *у*, т. е. немного мягче русского *ы*, имея средний звук между русским *ы* и *э*.

Мягкие вообще выговариваются как и по-русски, с тою разницею, что перед каждою из них слышится полугласная *ь*; напр.: люди — как *люди*, ехать — по укр. *ихати*, выговар. *ьихати*. Буквы : *я, е, ю*, — употребляются там же, где по-русски; буквы *е, и*, — там, где твердые *е, и*, — выговариваются мягко; *і, и*, — где коренная буква изменилась в звук мягкого *и*.

Из твердых гласных букв следующие : *е, і, и, ы* — выговариваются мягко, если перед ними стоит другая гласная буква.

Вот все, что я считал нужным объяснить предварительно моим читателям.

Предая на суд благосклонности труд мой, и не премину воспользоваться советами, если только буду ими удостоен.

Барваровка на Днепре.  
1833 года, апреля 2

И. С.